

ДОСТОЕВСКИЙ И НИЦШЕ (ФИЛОСОФИЯ ТРАГЕДИИ)

1903, выдержки Дятлова Н. С. от 05.08.2020, 1–42/91=54%

1. привыкшего в философии видеть последние обобщения человеческого ума, вершину той величественной пирамиды, которая называется современной наукой.
2. в глубине души он убежден, что там, где происходит трагедия, в сущности, должны кончаться все наши интересы
3. Философия же трагедии, не значит ли это философия безнадежности, отчаяния, безумия — даже смерти?! Может ли тут быть речь о какой бы то ни было философии? Нас учили: предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов, — и мы сразу поняли и радостно согласились принять это учение.
4. Но мы пошли еще дальше: нам мало было отделаться от мертвецов, нам мало было утвердить права живых. У нас остались все, не имеющие земных надежд, все отчаявшиеся, все обезумевшие от ужасов жизни. Что делать с ними? Кто возьмет на себя нечеловеческую обязанность зарыть в землю этих?
5. прекрасного и высокого
6. Идеализм существует уже давно, более двух тысячелетий, но до новейшего времени роль его была относительно незначительной. Даже у самого Платона, совершенно справедливо считающегося, с формальной стороны, отцом и родоначальником этого высокого учения, вы не раз наблюдаете странную непоследовательность в мыслях и аргументации, объясняемую единственно лишь тем, что он был еще далек от той «чистоты» идеалистического воззрения, до которого доросло наше время.
7. Нет, настоящий, чистый идеализм есть продукт последних двух веков. Он явился одновременно с упрочившейся в науке тенденцией к «монистическому» миропониманию.
8. Современный ум не выносит философии, предлагающей ему несколько основных принципов. Он стремится во что бы то ни стало к монизму — к объединяющему, как у нас говорят, вернее — к единому началу. Он даже с трудом уже выносит дуализм: нести на себе два принципа уже ему кажется слишком большим бременем. И он всячески ищет себе облегчения, он готов даже в случае нужды принять на веру какую-нибудь тонкую нелепость, лишь бы не считаться со сложностью. Дух и материя — это так много: не лучше ли что-нибудь одно — либо дух, либо материя? Или, в крайнем случае, не лучше ли всего признать, что дух и материя суть разные стороны одной и той же сущности? Правда, никто до сих пор не понимал, каким образом дух и материя могут быть «разными сторонами», но в философии, особенно новейшей, это далеко не единственное объяснение, которого никто никогда не понимал. Даже более того: такими объяснениями, если только они ловко и своевременно прилаживались, она крепче всего и держалась. Главное, чтоб не было лишних принципов!..
9. Философия хочет быть во что бы то ни стало «наукой», такой же наукой, как математика, и если этого нельзя достигнуть никаким иным путем, то, во всяком случае, выручит теория познания.
10. В философской системе, кроме исповеди, вы, в последнем счете, непременно найдете еще нечто, несравненно более важное и значительное: самооправдание ее автора, а вместе с ним и обвинение, обвинение всех тех, которые своей жизнью так или иначе возбуждают сомнения в безусловной справедливости данной системы и высоких нравственных качествах ее творца.
11. Да и как в него верить, когда для всех теперь очевидно, что мы, собственно, не знаем, чего мы хотим, когда говорим, что хотим истины.
12. Может быть, желать истины — значит желать покоя, может быть, это значит желать нового стимула для борьбы, а может быть, это значит желать найти какую-нибудь особенно оригинальную, никому еще в голову не приходившую «точку зрения». Все может быть!
13. И идеализму эта цель была всегда присуща. Он ставил людям задачи и возносил тех, которые соглашались принимать на себя эти задачи; тех же, которые от них отказывались, он

- предавал проклятию и позору, никогда не имея ни терпения, ни охоты справляться о причинах, в силу которых его учение в известных случаях (и так часто!) отвергалось.
14. У него заранее было готово объяснение для всех случаев своей неудачи; там, где его не принимали, он утверждал, что наталкивался на безумие или на злую волю. Он обзавелся категорическим императивом, дававшим ему право считать себя самодержавным монархом и законно видеть во всех, отказывавших ему в повиновении, непокорных бунтовщиков, заслуживающих пытки и казни.
 15. давно уже художественное творчество принято считать бессознательным душевным процессом
 16. По-видимому, этими взглядами была вызвана к жизни так называемая литературная критика. Художники недостаточно сознательно делают свое дело, нужно, чтоб кто-нибудь их проверил, объяснил, в сущности — дополнил.
 17. Литературные критики сами приблизительно так понимали свою роль и из сил выбивались, чтоб связать как-нибудь свое сознательное мышление с бессознательным творчеством подлежащих их обсуждению художественных произведений.
 18. Но если и того не будет? Если художник забудет о красоте, посмеется над истиной и пренебрежет добром? Мне скажут, что этого не бывает.
 19. Лермонтов, когда хотел, умел удивительно «сознательно» относиться к своим произведениям и проводить «идеи» не хуже любого критика.
 20. а имел лишь целью представить «пороки» нашего времени. Зачем? — спросите вы. И на это есть ответ. Обществу необходимо прежде всего понять себя, дать себе отчет в своих недостатках.
 21. «Будет уже и того, — кончает он свое объяснение, — что болезнь указана, а как ее излечить — уже Бог знает».
 22. Как видите, Лермонтов в предисловии почти сходится с Белинским. Печорин — болезнь, и ужасная болезнь общества. Только в его объяснении нет горячности и страсти, да и обнаруживается одно странное обстоятельство: болезнь общества его крайне интересует, до лечения же ему почти нет, а то и прямо нет никакого дела...
 23. Отчего же у человека, так умевшего открыть и описать болезнь, нет никакого желания лечить ее? И, вообще, отчего предисловие так спокойно, хотя и сильно написано?
 24. Ответ на этот вопрос вы найдете в романе: там с первых же страниц вы убедитесь, что если Печорин и болезнь, то это одна из тех болезней, которые автору дороже всякого здоровья.
 25. Печорин — больной, но кто же здоровый?
 26. Попробуйте судить Печорина; у него нет никаких недостатков, кроме одного — жестокости.
 27. Вы ее не у одного Лермонтова найдете. Почти у всякого большого поэта, не исключая и Пушкина, от времени до времени, когда описание «болезни» становится слишком соблазнительным, она наскоро, между делом, выбрасывается читателю как дань, от которой не свободны и привилегированнейшие умы.
 28. Там, где критики отмечают болезнь, «бессознательное» творчество тоже видит своего рода ненормальность, нечто такое, что имеет свои страшные и загадочные стороны. Но критика ничего, кроме болезни, не видит и спешит quand même[1] изыскивать способ лечения. Художник же об этом не думает и только для приличия смягчает свое суждение общепринятой фразой...
 29. «Печорины — болезнь, а как ее излечить, знает лишь один Бог». Перемените только форму, и под этими словами вы найдете самую задушевную и глубокую мысль Лермонтова: как бы ни было трудно с Печориными — он не отдаст их в жертву середине, норме. Критик точно хочет лечить.
 30. Каждый раз, когда ему приходит на ум, что современные истины — все же суть только истины своего времени и что наши «убеждения» могут быть столь же ложны, как и верования самых отдаленных предков наших — ему самому начинает казаться, что он покинул единственно правильный путь и прямо идет к ненормальности.
 31. Как ненавистен, как противен был ему весь строй современной мысли! Еще с молодых лет он ко всему, к чему наука говорила «да», говорил «нет», не останавливаясь даже перед

- опасностью сказать нелепость. Он готов был верить безграмотному мужику, глупой бабе, ребенку, мещанину в сермяге, толстому купцу — только бы они говорили иначе, чем люди науки!
32. хотя современность и выдвинула вновь идею о родстве гениальности и безумия, но мы все по-прежнему больше смерти боимся сумасшествия
 33. Какое бы там ни было родство — гениальность есть гениальность, безумие — безумие. И скорей безумный скомпрометирует своим обществом гения, чем гений оправдает безумие. Мы можем сомневаться в чем угодно — но это для нас аксиома, и всякого рода опыты над собой мы кончаем там, где нам начинает грозить безумие.
 34. Он даровитый позитивист и только.
 35. Есть область человеческого духа, которая не видела еще добровольцев: туда люди идут лишь поневоле. Это и есть область трагедии.
 36. В его измученном тревожными думами лице, в его воспаленных, горящих незнакомым светом глазах люди хотят видеть признаки безумия, чтобы приобрести право отречься от него.
 37. Они зовут на помощь весь свой идеализм и свои испытанные теории познания, которые так долго давали им возможность спокойно жить среди загадочной таинственности происходящих на их глазах ужасов.
 38. Идеализм и теория познания прямо возвещают им: вы безумцы, вы безнравственные, осужденные, погибшие люди.
 39. Может быть, большинство читателей не хочет этого знать, но сочинения Достоевского и Ницше заключают в себе не ответ, а вопрос. Вопрос: имеют ли надежды те люди, которые отвергнуты наукой и моралью, т. е. возможна ли философия трагедии?
 40. Но они ничему нас не «учат». Нет большего заблуждения, чем распространенное в русской публике мнение, что писатель существует для читателя. Наоборот — читатель существует для писателя. Достоевский и Ницше говорят не затем, чтоб распространить среди людей свои убеждения и просветить ближних. Они сами ищут света, они не верят себе, что то, что им кажется светом, есть точно свет, а не обманчивый блуждающий огонек или хуже того — галлюцинация их расстроенного воображения.
 41. Достоевский не был бы психологом, если бы такой процесс мог бы пройти для него незамеченным. И он не был бы писателем, если бы не поделился с людьми своими наблюдениями.
 42. «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения своих убеждений, тем более что это, быть может, и не так любопытно», — говорит Достоевский в своем дневнике писателя за 1873 г.
 43. Очевидно, вторая половина приведенной фразы сказана так себе, для приличия, требующего от писателя хотя бы внешнего пренебрежения к своей особе.
 44. Помните слова героя из «Записок из подполья»? «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?.. Ответ: о себе. Ну, так я буду говорить о себе».[3] Сочинения Достоевского в значительной степени осуществляют эту программу. С годами, по мере того как зреет и развивается его дарование, он все смелее и правдивее говорит о себе.
 45. Но, вместе с тем, до конца своей жизни он продолжает всегда более или менее прикрываться вымышленными именами героев своих романов. Правда, тут уже дело идет не о литературном или житейском приличии.
 46. Под конец своей деятельности Достоевский не побоялся бы нарушить и более серьезные требования междучеловеческих отношений. Но ему постоянно приходится говорить через своих героев такие вещи, которые и в его сознании, быть может, не отлились бы в столь резкой и определенной форме, если бы они не являлись ему в обманчивом виде суждений и желаний не собственного я, а несуществующего героя романа.
 47. В примечании к «Запискам из подполья» вы это чувствуете особенно сильно. Там Достоевский настаивает на том, что «автор записок, как и сами записки, вымышлены», и что он лишь поставил себе задачей изобразить «одного из представителей доживающего поколения». Такого рода приемы, конечно, достигают прямо противоположных целей.

- Читатель с первых же страниц убеждается, что вымышлены не записки и их автор, а объяснительное к ним примечание.
48. Ему самому страшно было думать, что «подполье», которое он так ярко обрисовывал, было не нечто ему совсем чуждое, а свое собственное, родное.
 49. Он сам пугался открывшихся ему ужасов и напрягал все силы души своей, чтоб закрыться от них хоть чем-нибудь, хоть первыми попавшимися идеалами.
 50. К сожалению, примечание на этот раз так тесно сплетено с текстом, что нет уже возможности чисто механически отделить действительные переживания Достоевского от измышленных им «идей».
 51. Так, например, все банальности и общие места ничего нам не говорят о самом Достоевском. Все это — заимствования. Нетрудно даже угадать источники, из которых их черпал Достоевский, правду сказать, довольно щедрой рукой. Второй признак — форма изложения. Как только в речи Достоевского послышится истерика, необычайно высокие ноты, неестественный крик — вы с несомненностью можете заключить, что это начинается «примечание». Достоевский уже сам не верит своим словам и пытается недостаток веры заменить «чувством», красноречием. Такое отчаянное, захлебывающееся красноречие, может быть, и действует неотразимо на грубое ухо. Но более опытному слуху оно говорит о совсем ином.
 52. Так или иначе, задача наша определена. Нам нужно выполнить намеченное, но не выполненное самим Достоевским дело: рассказать историю перерождения его убеждений. Замечу лишь здесь, что перерождение было действительно необыкновенное.
 53. Обыкновенно люди считают поверженных кумиров все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевский же не то что сжег — он втоптал в грязь все, чему когда-то поклонялся.
 54. Свою прежнюю веру он уже не только ненавидел — он презирал ее. Таких примеров в истории литературы немного. Новейшее время, кроме Достоевского, может назвать только Ницше. С Ницше была точно такая же история.
 55. Если взять во внимание это обстоятельство, то, пожалуй, теперь не покажется странным, что Ницше имел такое высокое мнение о Достоевском. Вот его подлинные слова: «Достоевский, это — единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни».[5] Ницше признал в Достоевском своего родного человека.
 56. И точно, если людей сближает, роднит не общность происхождения, не совместное жительство или сходство характеров, а одинаковость внутреннего опыта, то Ницше и Достоевский без преувеличения могут быть названы братьями, даже братьями близнецами.
 57. Мертвому же можно все простить — даже и то, что он знает тайну, открывшуюся Кириллову и Шатову в сарае. Он не выдаст...
 58. Одним из первых русских людей, приобретших влияние на европейцев, был сам Достоевский.
 59. Первый дар, который Европа с благодарностью приняла от России, была «психология» Достоевского, т. е. подпольный человек, с его разновидностями, Раскольниковыми, Карамазовыми, Кирилловыми.
 60. После каторги Достоевский написал целый ряд статей, в которых не только не отказывался от своих прошлых убеждений, но возвещал их с такой силой таланта и дарования, о которой он не смел и мечтать в молодые годы.
 61. Действительность, конечно, мрачна и неприглядна, особенно действительность каторги, а идеалы ясны и светлы. Но эта противоположность ведь и была той почвой, на которой вырастали идеалы: она не только не опровергала — она их оправдывала. Оставалось только подгонять и прищипоривать действительность до тех пор, пока расстояние между ней и идеалами не дойдет до бесконечно малой величины, до нуля. Соответственно этому и изображение мрачной действительности преследовало одну единственную цель — борьбу с ней и ее уничтожением в далеком, но казавшемся близким будущем.

62. В «Бедных людях», так же как в «Двойнике» и «Хозяйке», вы имеете дело с неловким еще, хотя и даровитым учеником, вдохновенно популяризирующим великого мастера, Гоголя, объясненного ему Белинским.
63. Неужели в ранней уже молодости он инстинктивно чувствовал потребность принести всего себя в жертву своему дарованию? Но это — так: талант есть *privilegium odiosum*[6] — он редко дает своему обладателю земные радости.
64. Оставим в стороне читателей с их сердцами и добрыми чувствами. Но каково должно быть положение писателя, взявшего на себя печальную обязанность будить чужую совесть изображением разного рода ужасов? Хорошо, если ему удастся собственную совесть хоть на время так заморозить, чтоб картины, предназначенные действовать на других людей, проходили бесследно для нее самой.
65. Удивительно ли, что можно было чувствовать себя счастливым, имея перед собой фантастическое лицо оплеванного чиновника?! Но как бы то ни было и что бы тут ни было замешано, роль изобразителя мрачной действительности тем опаснее и страшнее, чем искренней и полней ей отдаются и чем даровитей человек, взявший ее на себя. Талант есть, повторяю, *privilegium odiosum*, и Достоевский, как и Гоголь, рано или поздно должен был почувствовать, как тяжело его бремя.
66. «Познается, что самый забытый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Этими словами вполне исчерпывается та идея, ради которой вступил впервые на литературное поприще Достоевский. Новизной, как видите, она не блещет. Не блистала она этим качеством и в то время, когда начинал писать Достоевский. Она не им была впервые возведена.
67. Его статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове — на три четверти сплошной гимн гуманности.
68. И естественная необходимость была введена в догму наравне с гуманностью. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза (исключая, отчасти, самого Белинского, но об этом — ниже). Никто еще не чувствовал, что наряду с декларацией прав человека пред обществом (гуманностью), к нам занесли и декларацию его бесправия — перед природою.
69. И менее всего подозревал это Достоевский. Со всем пылом молодого и увлекающегося человека он набросился на новые идеи.
70. Но, с другой стороны, засвидетельствован и тот факт, что Достоевский никогда не чувствовал себя хорошо в кружке Белинского. Его там все — и сам Белинский — обижали.
71. И, нужно думать, эти обиды действовали чрезвычайно сильно на уже тогда болезненно восприимчивого юношу. Они так глубоко запали в его душу, что впоследствии, через 25 лет после смерти Белинского, он пользуется первым случаем, чтобы расквитаться за них.
72. В том же номере «Гражданина», из которого взяты приведенные выше слова Достоевского, вы встречаете целый ряд ядовитейших, выношенных долго в душе замечаний по адресу Белинского. Видно, крепко заныли старые раны, больно вспомнились невымещенные обиды, — если нужно было вылить столько яду на давно уже умершего учителя.
73. Но Достоевский был прав. Есть вещи, которые человеку не дано прощать, а стало быть есть обиды, которые нельзя забыть.
74. Нельзя примириться с тем, что учитель, от которого с такой радостью, так безраздельно, так безудержно принял веру — оттолкнул тебя и насмеялся над тобой. А у Достоевского с Белинским было именно так.
75. Но и Белинскому его ученик был в тягость. Знаете ли вы, что для иных учителей нет больших мук в мире, чем слишком верующие и последовательные ученики?
76. Как человек искушенный опытом, он слишком глубоко чувствовал, сколько опасности кроется во всяком чрезмерно страстном увлечении идеей. Он знал уже, что в глубине идеи таится неразрешимое противоречие, и потому старался держаться ее поверхности. Он понимал, что естественный порядок вещей смеется над гуманностью, которая, в свою очередь, может лишь покорно опустить голову пред непобедимым врагом.

77. В результате, ученик без «важных причин» покидает учителя, которому уже даже «Бедные люди» надоели и который следующее произведение Достоевского назвал «нервической чепухой». История, как видите, не из веселых.
78. Замечу здесь, что в последних своих произведениях Достоевский употреблял слово «гуманность» только иронически и всегда брал его в кавычки. Не дешево оно, значит, ему стоило!
79. Вторым испытанием был арест по делу Петрашевского. Достоевского приговорили к смертной казни, которая потом была заменена каторгой.
80. Но и тут он остался тверд и непоколебим — не только наружно, но, как видно из его собственных воспоминаний, даже в глубине души его не было никаких сомнений.
81. И для чего, к слову спросить, понадобилось такое измышление? К чести, что ли, Достоевского? Но какая в том честь? Разве уже так необходимо, чтоб человек еще в пленках имел целиком заготовленные на всю жизнь «убеждения»? На мой взгляд — в том необходимости нет. Человек живет и учится у жизни. И тот, кто, прожив до старости, не увидел ничего нового, скорей способен вызвать в нас удивление своей невосприимчивостью, чем внушить к себе уважение.
82. И если он сам открыто засвидетельствовал факт «перерождения своих убеждений», то попытки пройти молчанием это важнейшее событие его жизни из боязни, что оно обяжет нас к каким-либо неожиданным и непривычным выводам, заслуживают самого сурового порицания.
83. Новая, впервые открывающаяся истина всегда отвратительна и безобразна, как новорожденный ребенок.
84. Но в таком случае нужно отвернуться от всей жизни, от всей деятельности Достоевского, ибо его жизнь есть невольное и непрерывное искание того «безобразного», о котором здесь идет речь. Ведь недаром же человек провел десятки лет в подполье и каторге, ведь недаром же с ранней юности он не видит света Божьего и знает лишь с Девушкиными, Голядкиными, Наташами, Раскольниковыми, Карамазовыми. Видно, нет иного пути к истине, как через каторгу, подземелье, подполье... Но разве все пути к истине — подземны? И всякая глубина — подполье? Но о чем же ином, если не об этом, говорят нам сочинения Достоевского?
85. Такого благодушия Достоевский не проявлял ни разу, ни в одном из своих произведений — ни до, ни после каторги. Его героев постигает какая хотите участь; они сами режут людей или их режут, они сходят с ума, вешаются, заболевают белой горячкой, умирают в чахотке, идут в каторгу — но того, что произошло в селе Степанчикове, где и глава такая есть в конце: «Фома Фомич создает всеобщее счастье», нигде больше в его романах не повторялось.
86. А заключение — так просто пастушеская идиллия... Невольно с удивлением спрашиваешь себя: неужто так бесследно прошла для человека каторга? Неужто есть такие неисправимые идеалисты, которые, что с ними ни делай, продолжают носиться со своими идеалами и всякий ад умеют обращать в рай? Чего только ни насмотрелся Достоевский в каторге! А в сочинении своем до того наивен, что, точь-в-точь какой-нибудь 20-летний юноша, устраивает еще победу добра над злом... Доколе еще бить человека?
87. С грустными образами фантазии можно проводить целые ночи напролет в том блаженном состоянии, которое называется художественным вдохновением.
88. Ведь высшая похвала художнику в словах: «Он схватил и передал истинно трагический момент». Но передаватели трагических моментов боятся действительной трагедии, трагедии в жизни, не меньше, чем все прочие люди...
89. Для меня важно установить лишь следующее несомненное положение. Достоевский, как и всякий человек, не хотел себе трагедии и избегал ее всячески; если же не избег, то против своей воли, в силу внешних, от него не зависящих обстоятельств.
90. пользуются расположением даже тех читателей, которые в позднейших сочинениях Достоевского усматривают лишь проявление неумеренной, ненужной жестокости.
91. Если в каторге не зачерствела его душа, если он среди невыносимых физических и нравственных мук мог сохранить в себе такую отзывчивость ко всему человеческому —

- значит, таились в нем великие силы! И еще отсюда делался философский вывод, что глубокого, истинного убеждения не может победить никакая каторга...
92. забывали, вместе с тем, и справиться о том, что именно предохранило от ржавчины сердце Достоевского. Точно оно было из чистого золота — или тут замешалась иная причина? Вопрос любопытный, конечно. Никогда не мешает проверить легенду о золотых сердцах, хотя бы затем, чтоб иметь лишнее доказательство ее истинности.
 93. А пока вот его непосредственный ответ: «Не навсегда же я здесь, а только на несколько лет, думаю я, и склоняю опять голову на подушку». Слышите? Только такой ответ годится на заданный вопрос: надеюсь, вы заметили вопрос. Ссылка на театр, козла, гнедка здесь не принимается. Не вспоминаются и гуманные рассуждения, встречающиеся в других местах «записок». Примириться можно на одном — что каторга не навсегда, а на время.
 94. Сам Достоевский в пору составления записок и во все время своего пребывания в каторге был прямой противоположностью Горянчикова. Он был прежде всего человеком надежды — и великой надежды, и потому его способ понимания мира, его философия была тоже философией надежды.
 95. Это и предохранило его сердце от ржавчины, это и было причиной, почему он вынес из каторги нетронутой всю ту «гуманность», которую он туда принес с собой.
 96. Если же в этом романе слышится от времени до времени резкий диссонанс, если порой вы встречаете отдельные сцены и замечания, неожиданно нарушающие общую гармонию «гуманного» настроения, то это нужно отнести на счет изменчивости и непостоянства надежды. Ведь она самое капризное существо: она приходит и уходит, как ей вздумается. Наверное, во время пребывания Достоевского в каторге не раз покидала она его — и надолго. И вот в эти-то минуты, когда он чувствовал себя действительно навеки, навсегда сравненным с последним человеком, в нем зарождались те новые и страшные душевные элементы, которым суждено было впоследствии развиться совсем в иную философию, в настоящую философию каторги, безнадежности, в философию подпольного человека.
 97. Обыкновенно, как начинается полемика, так тотчас же забывается даже самый предмет спора. Противники лишь стараются перещеголять друг друга остроумием, находчивостью, диалектикой, ученостью. В статьях же Достоевского нет ничего подобного. Он не хочет меча — он хочет мира.
 98. Ну что это за пророк, если он не мог предугадать собственное будущее — и очень недалекое? Если в 1861 году он так серьезно и искренне упрекал славянофилов за то, что они не умеют оценить заслуги западников и так горячо защищал западников, в которых впоследствии будет сам видеть только хихикающих либералов?
 99. Человеку даже примечательному, даже гениальному позволительно ошибаться; но ведь пророк потому только и пророк, что он всегда безошибочно знает будущее.
 100. Она приводит его в негодование, он забыть ее не может и дальше, снова выписывая ее, восклицает: «как поднялась у вас рука написать ее!» Впоследствии у Достоевского поднималась рука и не такие фразы писать.
 101. Но пока Достоевский еще не подозревает, до чего ему придется договориться впоследствии.
 102. Здесь важно лишь то обстоятельство, что Достоевский в это время еще, по-видимому, не подозревал, как далеко придется ему уйти от всех этих идей, несмотря на то, что ему уже было сорок лет, что он многое уже пережил — и ссору с Белинским, и каторгу, и солдатчину.
 103. Он не смеет и думать, что вера скоро оставит его. Он страстно прославляет реализм, анализ, западничество. А меж тем — он уже накануне великого душевного переворота. Это последнюю дань несет он гуманности. Еще немного времени — и старый идеал рухнет, подкошенный невидимым врагом. Начнется эпоха подполья...
 104. И когда же она начинается? Факт примечательный: как раз тогда, когда, по-видимому, стали сбываться заветнейшие надежды поколения пятидесятых годов.
 105. До сих пор «гуманность» была только отвлеченностью — теперь ее призвали хозяйничать в жизни. Самые крайние идеалисты в начале 60-х годов должны были признать, что действительность, обыкновенно столь медленная и неподвижная, на этот раз не слишком отстает от их мечтаний. В литературе было великое празднество. Один лишь Достоевский не

разделяет общего ликования. Он стоит в стороне, точно ничего необычайного не произошло. Более того, он прячется в подполье: надежды России — не его надежды. Ему нет до них дела...

106. Кому пришло в голову вложить в уста своего героя слова такого чудовищного цинизма? Тому самому Достоевскому, который еще недавно с таким горячим и искренним чувством произносил уже несколько раз цитированные мною слова о последнем человеке. Вы понимаете теперь, какой неслыханной силы удар был нужен для того, чтоб перебросить его в такую отдаленную крайность?! Вы понимаете теперь, какая истина должна была ему открыться? О, тысячу раз были правы наши публицисты, когда подыскивали взамен такой истины общее место!
107. «Записки из подполья» — это раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования — это служение последнему человеку. До сих пор он считал себя отмеченным судьбой, предназначенным для великого дела. Теперь же он внезапно почувствовал, что он ничуть не лучше, чем другие люди, что ему так же мало дела до всяких идей, как и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть тысячу раз торжествуют: пусть освобождают крестьян, пусть заводят правые и милостивые суды, пусть уничтожают рекрутчину — у него на душе от этого не становится ни легче, ни веселее. Он принужден сказать себе, что если бы взамен всех этих великих и счастливых событий на Россию обрушилось несчастье, он чувствовал бы себя не хуже — может быть, даже лучше...
108. Что делать, скажите, что делать человеку, который открыл в себе самую безобразную и отвратительную мысль? Особенно писателю, привыкшему думать, что он обязан делиться с читателями всем, что происходит в его душе? Рассказать правду? Выйти на площадь и открыто, всенародно признаться, что вся прежняя жизнь, все прежние слова были ложью, притворством, лицемерием, что в то время, когда он плакал над Макаром Деушкиным, он нимало не думал об этом несчастном и только рисовал картины на утешение себе и публике? И это в сорок лет, когда начинать новую жизнь невозможно, когда разрывать с прошлым — значит заживо похоронить себя...
109. Достоевский пытается продолжать говорить по-старому; почти одновременно с «Записками из подполья» он пишет своих «Униженных и оскорбленных», в которых усиленно натаскивает на себя идею самоотречения, несмотря на то, что валится под ее тяжестью. Но где взять сил для такого систематического обмана и самообмана? Он уже с трудом выдерживает тон в «Униженных и оскорбленных». И там есть страницы, в которых прорывается злоеший свет нового откровения. Их, правда, немного. Подпольный человек там виден только в разговоре князя (ночью в ресторане) с Иваном Петровичем, — но этого достаточно, чтобы понять, какая гроза собирается в душе Достоевского. Князь все время нахальнейшим образом смеется над «идеалами» и «Шиллером», а бедный Иван Петрович сидит, точно в воду опущенный, и не умеет не только защититься, но даже держать себя хоть с некоторым достоинством. Позволить, хотя бы в романе, кому-либо так едко насмеяться над своей святыней — значит сделать первый шаг к ее отрицанию. Правда, Достоевский только один раз дал торжествовать князю — и то на минутку. Затем, на дальнейших страницах все действующие лица словно щеголяют друг перед другом своим благородством и самоотверженностью. Но одна ложка дегтю портит целую бочку меда. Тем более что и мед-то не настоящий, а искусственный, поддельный. Пафос Достоевского иссяк. Добро, служение идее не вдохновляют его больше.
110. «Записки из подполья» есть публичное — хотя и не открытое — отречение от своего прошлого. «Не могу, не могу больше притворяться, не могу жить в этой лжи идей, а другой правды нет у меня; будь, что будет» — вот что говорят эти записки, сколько бы Достоевский ни отрекся от них в примечании.
111. Я заметил уже, что в «Записках из подполья» Достоевский рассказывает свою собственную историю. Эти слова, однако, не следует истолковывать в том смысле, что ему самому пришлось на самом деле так безобразно обойтись со своей случайной подружкой; нет, история с Лизой, конечно, выдумана.

112. Эпиграфом к той главе, в которой рассказывается эта ужасная история, взято начало известного Некрасовского стихотворения: «Когда из мрака заблужденья». Вот над этим-то стихотворением и над святыней тех людей, от которых он когда-то «страстно принял» новое учение, так безумно и кощунственно ругается теперь Достоевский.
113. Но это был единственный выход для него. Он не мог больше молчать. В его душе проснулось нечто стихийное, безобразное и страшное — но такое, с чем совладать было ему не по силам. Он все сделал, как мы видели, чтоб сохранить свою старую веру. Он продолжал молиться своему прежнему богу даже и тогда, когда в его душе не было почти никакой надежды, что молитва будет услышана. Ему все казалось, что сомнения пройдут, что это только искушение.
114. Познается, что последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Но слова этой молитвы не только не утешали его — они были тем ядом, который отравил Достоевского, хотя в них видели, продолжают до сих пор видеть безопасные и даже укрепляющие душу слова... Благо тому, кто в этой фразе чувствует только поэзию братства! Но каково справиться с ней, когда на первый план выступает ничтожество и бессмыслица существования последнего человека? Как вынести ее, если весь ужас такого последнего существования узнаешь по собственному опыту? Когда поэзия братства будет уже предназначаться для новых, входящих в жизнь людей, а тебе лично придется взять на себя роль Макара Девушкина, объекта умиления возвышенных душ? Что тогда даст великая идея гуманности? Надежду на будущее, очень, конечно, отдаленное, мечты об ином, счастливом устройении человечества?.. А пока вечная, постылая и лицемерная роль жреца всего «прекрасного и высокого»... Прекрасное и высокое в кавычках — не моя выдумка. Это я нашел в «Записках из подполья». Там все «идеалы» в таком виде представлены. Там и Шиллер, там и гуманность, и поэзия Некрасова, и хрустальное здание, словом все, что когда-то наполняло умилением и восторгом душу Достоевского, — все осыпается градом ядовитейших и собственнейших сарказмов.
115. Если когда-нибудь и суждено сбыться великодушным мечтам его юности — тем хуже. Если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предаст его проклятью. Скажу прямо: до Достоевского никто не осмеливался высказывать такие мысли, хотя бы и с соответствующими примечаниями. Нужно было великое отчаяние для того, чтобы такие мысли возникли в человеческой голове, нужна была сверхчеловеческая дерзость, чтоб явиться с ними пред людьми.
116. Вот почему Достоевский никогда не признавал их своими и постоянно имел в запасе показные идеалы, которые он тем истеричнее выкрикивал, чем глубже они расходились с сущностью его заветных желаний и, если хотите, с желаниями всего его существа.
117. Спрашивается — чего нам искать в них, что ценить? Рвавшие ли наружу, вопреки «совести и разуму», говоря излюбленными толстовскими словами, запросы его души или изготовляемые по более или менее обычному шаблону рецепты высокой жизни? На какой стороне истина?
118. И сам Достоевский так делал, хотя в этом смысле его сочинения напоминают речи тех проповедников, которые, под предлогом борьбы с безнравственностью, рисуют завлекательные картины соблазна...
119. Нужно выслушать человека таким, каков он есть. Отпустим ему заранее все его грехи — пусть лишь говорит правду. Может быть — кто знает? — может быть, в этой правде, столь отвратительной на первый взгляд, есть нечто много лучшее, чем прелесть самой пышной лжи?
120. Может быть, всю силу скорби и отчаяния должно направить совсем не на то, чтоб изготовлять людям годные для их обыденной жизни учения и идеалы, как делали до сих пор учителя человечества, всегда ревниво скрывавшие от посторонних глаз свои собственные сомнения и несчастья?
121. С этим сознанием кончается для человека тысячелетнее царство «разума и совести»; начинается новая эра — «психологии», которую у нас в России впервые открыл Достоевский.

122. Между прочим, прямой антагонизм между «разумом и совестью» с одной стороны и «психологией» — с другой, до сих пор мало кто решается признать открыто. Большинство предполагает возможным сохранить старую иерархию, при которой психологии приходится занимать подчиненное положение. Ее дело — лишь доносить о том, что происходит в человеческой душе, верховные же законодательные права по-прежнему остаются за совестью и разумом, которым дано решать, чему «должно быть» и чему быть не должно. Такое предположение разделяется даже людьми, наиболее способствовавшими успехам психологии.
123. Их беспокойные попытки возвратиться к старым «хорошим словам» свидетельствуют лишь о том, что дело разрушения не только не менее, но много более трудно, чем дело созидания.
124. Только тот решается разрушать, кто уже иначе жить не может.
125. Покорный судьбе, он направляется к своим уединенным и мизантропическим чудачкам.
126. Толстой, совсем иначе смотрел на них и вовсе не желал их обращать в мираж прошлого. Наоборот, он хотел в них видеть вечно настоящее, неизменное. Для него Пьер Безухов, Наташа, Ростов, княжна Марья — не давно отжившие люди, принужденные уступить свое место новому «уединенному и мизантропическому», т. е. подпольному человеку — он настаивает на том, что все они — герои настоящего дня.
127. Ему нужно знать, точно ли они верят во все, что делают, точно ли они знают, куда идут. Он тоже психолог, как и Достоевский, т. е. он тоже ищет корней. А ведь все корни — глубоко под землей, значит и гр. Толстому знакома глухая, подземная, подпольная работа.
128. Он хочет веры, а занимается проверкой, которая всякую веру убивает.
129. Только своему колоссальному художественному дарованию гр. Толстой
130. И не только творчество, вся жизнь гр. Толстого носит на себе следы вечной борьбы с «психологией», с подпольем.
131. У Достоевского подпольный человек, отметив ложь своей жизни, приходит в ужас и сразу порывает со всем своим прошлым. У гр. Толстого его герои никогда не перестают верить в «прекрасное и высокое» — даже в те моменты, когда пред ними выясняется во всей полноте несоответствие действительности с идеалами: они позволяют действительности войти в свои права, но не перестают ни на минуту чтить идеалы.
132. Так, поражения русских войск, сдача Москвы и т. д. ни на кого из героев «Войны и мира», не принимающих непосредственного участия в военных действиях, не производят слишком удручающего впечатления. Гр. Толстой неоднократно отмечает это обстоятельство, так что, собственно говоря, должно было бы получиться такое впечатление, как и от обращенных к Лизе слов подпольного человека: «Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить».
133. Эти замечания необычайно характерны для «Войны и мира». Гр. Толстой везде, где только может, напоминает нам, что для лучших людей 12-го года несчастья России значили меньше, чем их собственные, личные огорчения.
134. Какой бы гам подняли они, если бы вместо того, чтобы «притворно» огорчаться бедствиями России, княжна Марья, например, прямо заявила, на манер подпольного человека: «России ли погибнуть, или мне чаю не пить? Я скажу — пусть себе гибнет Россия, а чтоб мне чай был». По существу, у гр. Толстого и княжна Марья, и Николай Ростов говорят именно так.
135. И все другие действующие лица этого романа (лучшие, конечно — и именно лучшие, худшие не позволяют себе такой откровенности) немногим превосходят их в своем патриотизме.
136. В конце концов гр. Толстой окольным путем все сводит к проявлению человеческого эгоизма. Но тем не менее прекрасное и высокое не попадает в кавычки и сохраняет свое прежнее почетное положение.
137. Достоевский, разбирая «Анну Каренину», заметил между прочим: «Анна Каренина совсем не невинная вещь». Еще бы! Нужно быть самому очень уж невинным человеком для того, чтобы в творчестве гр. Толстого увидеть лишь одну поэзию.
138. Столкновение двух великих писателей земли русской по вопросу о сочувствии страданиям славян — высоко знаменательно. Как это случилось, что «разум и совесть», столь

- непогрешимые и поднесь восхваляемые гр. Толстым судьи, подсказали столь разные решения одинаково примечательным людям?
139. О, «Анна Каренина» совсем не невинная вещь! Левин отчаивается, Левин видит себя на пути к вечному подполью, к каторге на воле, к гибели — и спасается, не разбирая способов спасения. «Чистой души человек!» Недаром его похвалил Достоевский: ворон почувствовал запах тленья и не может скрыть своей радости!
140. И при этом не только не раскаивается, но радуется: не смелости своей, о которой он и не вспоминает. Он радуется тому, что может, как и все люди, ревновать и в ревности своей переходить через всякие границы.
141. В одном из своих писем гр. Толстой говорит, что с отвращением работал над «Анной Карениной». Я полагаю, что этому можно поверить, если иметь в виду, какую задачу ему задал Левин. Что может быть постылей, нежели необходимость во что бы то ни стало изобразить счастливым и «добрым» человека, который был так же чужд добру, как и далек от счастья!
142. Но для Левина женитьба не была просто женитьбой, как для всех людей. Она была для него доказательством, что он не хуже, чем другие.
143. Само собою разумеется, что такой брак возбуждает в человеке чувство гордости: и у меня, говорит он себе, есть почва под ногами. И все, решительно все, что делает Левин, — имеет одну цель: убедить себя и других, что он прочно, с корнями, врос в землю, так, что никакая буря уже не повалит его.
144. А между тем великий писатель знает, что есть и падающие, и упавшие люди, которым уже никогда не подняться. Он часто говорит о них, он выдумывает теории, примиряющие нас с падением. Но самому попасть в категорию падших, принять на себя *capitis diminutio maxima*, потерять право на покровительство человеческих и божеских законов? На это он добровольно ни за что не согласится. Все лучше, чем это.
145. Лучше жениться на Кити, лучше заниматься хозяйством, лучше лицемерить пред добром, лучше обманывать себя, лучше быть таким, как все, — только бы не оторваться от людей, только не оказаться «заживо погребенным». Совсем так, как у Достоевского. Разница в том, что у гр. Толстого была еще чисто внешняя возможность вернуться к людям, а Достоевский уже не имел ее. Достоевскому уже было «все равно» («Сон смешного человека»), он знал, что не уйдет от судьбы.
146. Эта борьба определяет собою все творчество гр. Толстого, в лице которого мы имеем единственный пример гениального человека, во что бы то ни стало стремящегося сравниться с посредственностью, самому стать посредственностью.
147. И, главное, так размещено, что в общем получается ободряющая и радующая взоры картина, несмотря на то, что в ней ничего не забыто из тех ужасов жизни, которые подрывают доверие людей к ближним и Творцу.
148. Достоевский никогда не мог постигнуть тайны этой стороны толстовского искусства. Он воображал, что грозный окрик, повелительный тон, решительность в утверждении, несколько добродетельных и святых слов всегда способны справиться с живущим в его собственном и вообще в каждом человеческом сердце беспокойством.
149. Князь Андрей умер мучительной смертью после мучительной жизни, Пете Ростову французы прострелили голову, старая графиня на наших глазах обращается в полуидиотку, граф Илья Андреевич, разорив детей, незаметно ступшевывается, Соня становится приживалкой и т. д. Но все это так расположено на картине, что не только не ослабляет, но еще усиливает общее бодрящее впечатление.
150. Дерзкие вопросы не забыты, но они не только не смущают читателя, но даже кажутся, при чтении, разрешенными.
151. По смыслу романа, князю Мышкину полагается всегда отличаться; он должен уметь все понимать и из самых трудных положений выходить победителем. Но, в таком случае, нужно думать, что Достоевский, устраивая ему встречу с Ипполитом, просто решил посмеяться над своим героем. Разве можно с иными целями задавать такие вопросы, на которые, сколько ни бейся, никогда не ответишь не то что толково, но даже хоть сколько-нибудь

удовлетворительно? И форма-то вопроса какова: «Чтобы вышло всего добродетельнее, то есть»! Кажется, будто Достоевскому, по старой привычке подпольного человека, вдруг неудержимо захотелось показать язык своей собственной мудрости. И точно, если вопрос Ипполита дерзок, то ответ князя Мышкина возмутителен. Вот он: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, — проговорил князь тихим (!) голосом». Ипполит расхохотался ему прямо в глаза. У Достоевского не хватило решительности заставить бедного мальчика преклониться пред беспардонною святостью князя. И тихий голос, всегда в таких случаях особенно сильно действующий, не произвел никакого эффекта, равно как и магическое слово «простите»...

152. Это чисто шопенгауэровское «бессмертие души» в изображении гр. Толстого необычайно успокоительно и ободряюще действует на остающихся в живых. Смерть есть пробуждение от жизни...
153. «И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему (князю Андрею) более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения». Приведенные строки взяты гр. Толстым почти буквально из «Мира, как воля и представление», как и вся теория о смерти.
154. Это странно. Гр. Толстой, вообще говоря, не любит заимствований, но на этот раз делает исключение. Взгляд Шопенгауэра показался очень уж соответствующим нуждам минуты. Он обещает, конечно, не настоящее бессмертие, т. е. бессмертие не для умирающего, а для остающихся в живых. Но кто станет думать о мертвецах! Пусть себе мирно покоятся в гробах — а живые пусть пользуются жизнью.
155. Князь Андрей, умирая, теряет свою человеческую индивидуальность, которая, постепенно растворяясь и расплываясь, тонет в чем-то совсем ином, нежели все, что мы можем представить себе. Это-то иное, эта Ding an sich^[20] или «воля», во всяком случае, нечто кантово-шопенгауэровского происхождения, и есть ожидающее человека «бессмертие». Для живых такой грандиозный горизонт представляется интересным зрелищем. Умирающий же за такое бессмертие не даст ничего.
156. Князя Андрея только нужно приличным образом выпроводить из жизни. Нужно зарыть его поглубже в землю и на могилу еще навалить огромный камень, чтобы мертвец не мог встать и беспокоить ночной сон живых — или, еще лучше, нужно его обратить в Ding an sich. В этом задача толстовского искусства, в этом смысл кантовской идеалистической философии: все тревожные вопросы жизни нужно тем или иным путем перевести в область непознаваемого. Тогда лишь наступит на земле то спокойствие, которое люди, однажды испуганные призраком, ценят выше всего в жизни.
157. И он нашел свою «Ding an sich» и свои синтетические суждения a priori, то есть узнал, как отделяются от всего проблематического и создаются твердые принципы, по которым можно жить человеку.
158. Сам Ницше не был таким умным молчальником: он мучил свою воду; но к гр. Толстому эти слова могут быть применены целиком. Он — светел, прозрачен, смел, — кто может думать, что нужно еще спускаться на дно его души, и что на этом дне живут чудовища?
159. Непрочность — для гр. Толстого нет такого слова. Вспомните, например, эпилог к «Войне и миру». Разве есть такие сомнения, которые не были бы разрешены в уютной столовой Николая Ростова, за чайным столом, собравшимися вместе довольными и радостными членами большой семьи?
160. Декабристы, вслед за Андреем Болконским, выпровождены в область Ding an sich, куда, по теории Канта, и полагается направлять все антиномии человеческого сознания.
161. Это, вы понимаете, речи скептицизма Юма. Дайте им простор, — и все усилия, потраченные на «Войну и мир», окажутся потраченными даром. Необходимо, значит, изменить направление разговора. И вот, слово предоставляется Николаю Ростову. В качестве человека априорного он доказательств не любит и уважает лишь всеобщность и необходимость. Он так прямо и заявляет Пьеру: «Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно; я этого не вижу... И вели мне Аракчеев идти на вас (т. е. на Пьера с его петербургскими друзьями) с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду»... Не правда ли,

чудесно сказано?! Да разве, в самом деле, Пьеру возможно что-нибудь доказать? И затем, разве Кант не прав, разве нам можно существовать без априорных суждений, т. е. без таких, которые поддерживаются не учеными соображениями, всегда противоречивыми и неустойчивыми, а силой, никогда себе не изменяющей, иначе говоря — необходимостью?

162. «Долго, — рассказывает он нам, — после его (Николая) смерти в народе хранилась набожная память о его управлении». Набожная память! Долго хранилась! Пересмотрите все, что писал гр. Толстой: ни об одном из своих героев он не говорил с таким чувством благодарности и умиления. Но за что же? — спросите вы. Чем заслужил этот обыкновенный человек такую признательность? А вот именно своей обыкновенностью: Ростов знал, как жить, и был потому всегда тверд. Во всю же свою писательскую деятельность гр. Толстой ничего так не ценил, как определенное знание и твердость, ибо у себя не находил ни того, ни другого.
163. Он мог только подражать Ростову и, само собою разумеется, был принужден расточать хвалу своему высокому образцу.
164. Сверх того, графиня Марья по поводу спора Пьера с Николаем предлагает в защиту априорности новый аргумент, который с удовольствием принимается Николаем, несмотря на то, что, собственно говоря, ему никакие аргументы не нужны и что именно в этом его высшее качество...
165. Какую бы «психологию» сделал из этого Достоевский! Но гр. Толстой уже искушен. Он знает, что каждый раз, когда приближается антиномия, нужно делать святое, невинное, детски простодушное лицо, — иначе прощай навсегда всякие априори, всеобщность, необходимость, прочность, почва, устои!.. И нет равного ему в этом дипломатическом искусстве.
166. Гр. Толстой таким способом достигает двойной цели: он сказал «правду» — и правда не подорвала жизни. До гр. Толстого идеализм не знал таких тонких приемов. Ему для своих эффектов всегда требовалась и грубая ложь, и «горячее» чувство, и красноречие, и мишура, и даже лубочные краски.
167. Вся деятельность гр. Толстого, включая его последние философско-публицистические статьи и даже роман «Воскресение» (одно из немногих, почти единственное относительно неудачное его произведение — в нем гр. Толстой словно собирает крохи от своего собственного, когда-то роскошного стола), не выходит за пределы указанной мною задачи. Он во что бы то ни стало хочет приручить тех бешеных зверей, которые называются иностранными словами «скептицизм» и «пессимизм».
168. «добро, братская любовь — есть Бог»
169. Я хочу только напомнить, что и это «убеждение», которое, по настойчивому уверению гр. Толстого, имеет своими родителями чистейший разум и правдивую совесть, совсем не такого уж благородного происхождения. Его породил все тот же страх пред *Ding an sich*, все то же стихийное почти стремление «назад к Канту» (как еще недавно восклицали хором представители новейшей немецкой философии), в силу которых выпроваживался князь Андрей, возвеличивался Ростов, поэтизировалась княжна Марья и т. д. Оттого-то, как мы увидим ниже, положение, представляемое гр. Толстым как величайшая и возвышеннейшая истина, могло казаться кощунственной, безобразной и отвратительной ложью Достоевскому.
170. Итак, один из способов борьбы с пессимизмом и скептицизмом есть создание априорных суждений и *Ding an sich*, короче — идеализм, который гр. Толстой формулирует в словах «добро есть Бог».
171. Но, вместе с тем, из предыдущего следует, что идеализм нуждается во внешней опоре. Левину необходимо было жениться на Кити, повести хозяйство, ходить на охоту и пр. и пр. Одного «разума» оказалось недостаточно для возведения этой воздушной постройки.
172. Потребовалось «материальное», очень материальное основание.
173. Вспомните хотя бы родоначальников европейского идеализма — Сократа и Платона с их учением о добре. Казалось, оно соткано из чистейших идей, брезгливо сторонящихся от всякого соприкосновения с тем, что не происходит от разума.
174. Оказывается, что учение о преимуществе добра над злом не может — я почти готов сказать не хочет — держаться одной диалектикой, как бы «божественна» она ни была. Для своего

закрепления оно нуждается в такой грубой, такой материальной вере, как вера в воздаяние. Собственно говоря, чего еще нужно, после того как доказано, что испытать несправедливость лучше, чем причинить ее?

175. Но на самом деле этого мало. В диалогах Платона (Горгий, Государство, Федон) на поддержку добра призывается самое обыкновенное человеческое средство. Там объявляется, что злые будут наказаны в свое время (в будущей жизни), а добрые вознаграждены... Раз добру принадлежит такое несомненное торжество, — то, пожалуй, можно было бы и всякую диалектику оставить в покое.
176. Самый неразвитой ум способен понять преимущество добра, имеющего за собой хотя и далекого, но совсем по-земному устроенного и притом всемогущего защитника.
177. Но странное дело! Сократово-платоновское воздаяние вы найдете во всех почти идеалистических системах нравственности.
178. Все моралисты считали необходимым делать самого Бога покровителем добра или даже, как гр. Толстой, отождествлять добро с Богом (это в новейшее уже время — время позитивизма, эволюции и т. д.). Очевидно, добро моралистов само по себе, *an sich*, представлялось не очень привлекательным, и люди принимали его только из боязни возбудить против себя гнев всемогущего существа.
179. В этом смысле идеализм подобен восточной деспотии: снаружи все блестяще, красиво, вечно; внутри же — ужасы.
180. В этом и причина того непонятного явления, что такое невинное на первый взгляд учение так часто делалось предметом самой ожесточенной ненависти со стороны людей, менее всего заслуживающих подозрения в «природной» склонности к злу.
181. Но можно с уверенностью сказать, что всякий непримиримый враг идеализма был сам когда-то, как Достоевский или Ницше, крайним идеалистом, и что «психология», так пышно расцветшая в новое время, есть дело рук отступников идеализма.
182. И в самом деле, с чего бы человеку начать лазить в глубину своей души, зачем проверять верования, несомненно блестящие, красивые, интересные? Декартово *de omnibus dubitandum*[22] тут, конечно, не при чем: из-за методологического правила человек ни за что не согласится терять под собой почву. Скорей, наоборот — потерянная почва полагает начало всякому сомнению.
183. Вот когда оказывается, что идеализм не выдержал напора действительности, — когда человек, столкнувшись волею судеб лицом к лицу с настоящей жизнью, вдруг, к своему ужасу, видит, что все красивые априори были ложью; тогда только впервые овладевает им тот безудерж сомнения, который в одно мгновение разрушает казавшиеся столь прочными стены старых воздушных замков. Сократ, Платон, добро, гуманность, идеи — весь сонм прежних ангелов и святых, оберегавших невинную человеческую душу от нападений злых демонов скептицизма и пессимизма, бесследно исчезает в пространстве, и человек пред лицом своих ужаснейших врагов впервые в жизни испытывает то страшное одиночество, из которого его не в силах вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. Здесь-то и начинается философия трагедии. Надежда погибла навсегда, а жизнь — есть, и много жизни впереди. Умереть нельзя, хотя бы и хотел.
184. Все априори погибли, философия Канта и гр. Толстого кончена, начинается область *Ding an sich*... Угодно ли вам следовать туда за Достоевским и Ницше? Обязательного в этом нет ничего: кто хочет — вправе уйти «назад к Канту». Вы не убеждены, что найдете здесь то, что вам нужно, — какую бы то ни было «красоту». Может быть, здесь ничего, кроме безобразного, нет.
185. Несомненно только одно: тут есть действительность, новая, неслыханная, невиданная или, лучше сказать, не выставленная до сих пор действительность, и те люди, которые принуждены ее звать своей действительностью, которым не дано вернуться обратно в простую жизнь, где заботы о здоровье Кити, споры с Кознышевым, устройство имений, сочинение книг и т. д. вводят даже выдавших виды Левиных в обычную колею человеческого существования, те люди будут смотреть на все иными глазами, чем мы. Мы можем отречься от этих людей: какое нам до них дело! Мы так и поступали, поступаем до сих пор.

186. Н. К. Михайловский в своей известной и во многих отношениях примечательной статье назвал Достоевского «жестоким талантом». Определение чрезвычайно меткое: я думаю, что оно навсегда удержится за Достоевским. К сожалению, критик хотел этими двумя словами не только дать характеристику художника, но также и произнести приговор над ним и всей его деятельностью. Жестокий — значит исковерканный, изуродованный, а потому и негодный. Н. К. Михайловскому остается только скорбеть о том, что так случилось — что Достоевский, имея огромный талант, не был вместе с тем жрецом гуманности. Это суждение критика основывается на том предположении, что гуманность несомненно выше, лучше жестокости... Несомненно? Но где же декартовское правило, о котором сейчас шла речь, где *de omnibus dubitandum*? О нем, конечно, Н. К. Михайловский был осведомлен. Но оно, по своему обыкновению, осталось бездействовать, отлично зная, что ему всегда нужно приходиться последним, если оно желает быть *bienvenu*. [23]
187. Тот же Н. К. Михайловский в другой своей статье, говоря о Прудоне, передает целый ряд фактов, доказывающих, что знаменитый француз, с именем которого в России связывали представление о лучшем борце за высокие идеи, был в жизни «плутватым» человеком.
188. Очевидно, даже такое неожиданное открытие, как то, что творец высоких идей был в жизни не совсем честным человеком, не могло поразить Н. К. Михайловского.
189. Об этом он сам хорошо говорит в предисловии к новому изданию своих сочинений, в предисловии, подводящем итог его многолетней литературной деятельности: «всякий раз, как мне приходит в голову слово „правда“, я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда, в этом огромном смысле слова всегда состояла цель моих исканий... Я никогда не мог поверить и теперь не верю, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя».
190. вероятно, Н. К. Михайловский делал в своей жизни не одно такое открытие и не раз удивлялся черствости своей души и даже, быть может, бичевал себя за то
191. Не то было с Достоевским. Ему не удалось остаться до конца жизни жрецом своей молодой веры. Он был обречен на участь перебежчика, изменника, предателя. Таким людям идеи мстят, и мстят безжалостно, неумолимо.
192. Нет позора, невидимого, внутреннего, нет унижения, которое бы не выпадало на их долю. Каторга Достоевского продолжалась не четыре года, а всю жизнь...
193. Н. К. Михайловский, конечно, прав, когда объясняет мировоззрение Достоевского вынесенными им испытаниями. Но вопрос в том, действительно ли такие испытания мешают людям видеть «истину»? Не наоборот ли? Ведь может быть, что обыденная жизнь среди обыденных людей дает и философию обыденности! А кто поручится, что именно такая философия нужна людям? Может быть, чтоб обрести истину, нужно прежде всего освободиться от всякой обыденности? Так что каторга не только не опровергает «убеждений», но оправдывает их; и настоящая, истинная философия есть философия каторги...
194. Если все это так, то, значит, и гуманность, родившаяся среди вольных людей, не вправе тащить жестокость к позорному столбу и попрекать ее темным, каторжным происхождением, и должна уступить своей униженной противнице все несчетные права и преимущества, которыми она до сих пор пользовалась в мире, и прежде всего блестящую свиту поэтов, художников, философов и проповедников, которые в течение тысячелетий неустанно расточали ей высокие похвалы...
195. Скептицизм и пессимизм возбуждают в подпольном человеке такой же мистический ужас, как и в гр. Толстом, но вернуться к обыденности, даже прилично притвориться пред собой и другими вернувшимся к обыденности (он бы, может быть, пошел на это) ему не дано.
196. Победить идеализмом свои несчастья и сомнения — невозможно. Все попытки борьбы в этом направлении не привели ни к чему: «Это „прекрасное и высокое“ сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет», — говорит у Достоевского его подпольный человек. Остается

одно: оставить бесплодную борьбу и пойти вслед за скептицизмом и пессимизмом, посмотреть — куда они приведут человека. Это значит сказать себе: «Все, что ценилось, все, что считалось прекрасным и высоким — в этой жизни для меня запретный плод. Но я живу еще, я буду еще долго жить в новых, страшных условиях. Так создам же я себе свое прекрасное и высокое». Иначе говоря, начинается «переоценка всех ценностей».

197. Идеализм, совершенно неожиданно для себя, обращается из безгрешного судьи в подсудимого. Достоевскому стыдно вспомнить, что он когда-то сам был идеалистом. Он хотел бы отречься от своего прошлого и, за невозможностью обмануть себя, старается представить себе свою недавнюю жизнь в ином свете, придумывает себе смягчающие вину обстоятельства.
198. «У нас, русских, вообще говоря, никогда не бывало глупых, надзвездных, немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах — они все те же, даже для приличия не изменяются и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков»[25]... Уж будто у нас нет «дураков»? А кто по ночам воспевал Макара Девушкина? Кто обливался слезами над Наташей даже в ту пору, когда земля уже трещала под ногами? Увы, этих страниц прошлого не вытравить из памяти, сколько ни хитри. Из всех наших романтиков Достоевский был самым мечтательным, самым надзвездным, самым искренним.
199. Язык, конечно, иной, — но кто не узнает в этой стене кантовских a priori, поставленных пред Ding an sich? Философов они очень удовлетворяли, но Достоевский, которому больше всего на свете нужно было это «успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное», сознательно предпочитает лучше расшибить голову о стену, чем примириться с ее непроницаемостью.
200. Вы видите, что «вечные» истины были придуманы мудрецами не столько для нуждающихся в утешении, сколько для утешителей, т. е. для себя самих. От этой мысли Достоевский приходит в ужас. Ведь он же всей своей жизнью, всем своим прошлым олицетворял идею утешающего.
201. Помните почти бессмысленное, но гениальное выражение шекспировского Лира: «От медведя ты побежишь, но, встретив на пути бушующее море, к пасти зверя пойдешь назад»?
202. Достоевский побежал от действительности, но, встретив на пути идеализм — пошел назад: все ужасы жизни не так страшны, как выдуманные совестью и разумом идеи.
203. Чем обливаться слезами над Девушкиным — лучше правду объявить: пусть свет провалится, а чтоб мне чай был.
204. «Законы природы постоянно и более всего всю жизнь обижали меня», — рассказывает подпольный человек. Удивительно ли, что у него не может быть нежности ни к истинам, ни к идеалам, если те и другие то в форме законов природы, то в форме высоких учений о нравственности только и знали, что оскорблять и унижать ни в чем не повинное и ребячески доверчивое существо? Чем можно ответить таким властелинам? Какое чувство, кроме вечной, непримиримой ненависти можно питать к естественному порядку и к гуманности?
205. Но психология уже показала нам, что все предположения придуманы только для предполагающих, и что даже гр. Толстой принял участие в заговоре против униженных и оскорбленных.
206. В этом причина, почему Достоевский, к удивлению его современников, с таким странным упорством отказывался благоговеть пред гуманными идеями, так безраздельно господствовавшими в шестидесятых и семидесятых годах в нашей литературе.
207. Очевидно, вы имеете тут дело не с диалектиком. Достоевскому не до спора, совсем не до спора. Он ведь не чужие, а свои собственные надежды убивает.
208. Если задача человека обрести счастье на земле, то, значит, все навсегда погибло. Эта задача уже невыполнима, ибо разве будущее счастье может искупить несчастье прошлого и настоящего?
209. Разве судьба Макара Девушкина, которого оплевывают в XIX столетии, становится лучше оттого, что в XXII столетии никому не будет дозволено обижать своего ближнего? Не только

не лучше, а хуже. Нет, если уж на то пошло, так пусть же навеки несчастье живет среди людей, пусть и будущих Макаров оплевывают. Достоевский теперь не только не хочет приуготавливать основание для будущих великолепий хрустального дворца, — он с ненавистью, злобой, а вместе с тем и с тайной радостью заранее торжествует при мысли, что всегда найдется какой-нибудь джентльмен, который не даст водовориться на земле благополучию.

210. Сущность в том, что Достоевский не хочет всеобщего счастья в будущем, не хочет, чтоб это будущее оправдывало настоящее. Он требует иного оправдания и лучше предпочитает до изнеможения колотиться головой об стену, чем успокоиться на гуманном идеале.
211. Только «Записки из мертвого дома» были приняты публикой и критикой как нечто свое, обывденное, вольное. И точно, в этом произведении Достоевский проявляет — один раз в жизни — почти толстовское искусство примирения действительности с принятыми идеалами.
212. Читатель уходил от «Записок из мертвого дома» просветленным, возвысившимся, умиленным, готовым на борьбу со злом и т. д. — совсем как того требовала современная эстетика.
213. И, кстати, в своем возвышенном настроении и в своей готовности считал Достоевского таким же хорошим и добрым человеком, как и самого себя. А между тем чуточку внимания и поменьше восторженности — и в «Записках из мертвого дома» открываются такие перлы, каких и в подполье не найдешь.
214. Значит, умел же Достоевский принарядить эту безобразную и отвратительную мысль. Как? Лучшие русские люди живут в каторге?! Самый даровитый, самый сильный, необыкновенный народ, это — убийцы, воры, поджигатели, разбойники? И кто так говорит? Человек, живший с Белинским, Некрасовым, Тургеневым, Григоровичем, со всеми теми людьми, которые до сих пор считались красой и гордостью России!
215. И им предпочесть клейменных обитателей мертвого дома? Но ведь это — настоящее безумие. А между тем два поколения читателей видели в этом суждении выражение высокой гуманности Достоевского. Полагали, что это он так в смирении своем, в своей любви к ближнему на новый лад воспевает последнего человека.
216. Постарались только ослабить его значение соответствующей интерпретацией. Стали указывать на то обстоятельство, что во времена Достоевского каторжники, собственно, не были настоящими преступниками, а были только протестантами — большей частью людьми, восставшими против безобразия крепостных порядков.
217. Достоевский протестантов в каторге не очень любил, только что переносил их. Вспомните, как он говорит о политических преступниках. Его восторги относятся к настоящим каторжникам, вот к тем, о которых его товарищ по заключению, поляк М-цкий, всегда говорил: *je haïs ces brigands* — и только к этим. В них-то он нашел и силы, и дарования, и необыкновенность, их-то он поставил выше Белинского, Тургенева и Некрасова; нам предоставляется возмущаться таким суждением, смеяться над ним, проклинать его — что угодно; но Достоевский именно это и только это хотел сказать.
218. Он и сам не хочет признаться даже себе, что учился у каторжников. Защищая свои новые воззрения, он все ссылается на народ.
219. Но какой же это народ — те люди, с которыми жил Достоевский? Это — каторжники, это те элементы, которые народ извергает из себя. Жить с ними значит не сойтись, не соприкоснуться с народом, а уйти от него так далеко, как не уходил ни один из проживающих постоянно за границей абсентеистов наших. Этого не должно ни на минуту забывать. А если так, то, стало быть, и все благоговение Достоевского пред народом, которое дало ему столько преданных и страстных поклонников, относилось к совсем иному божеству, и русские, «верующие» читатели были жестоко и неслыханно обмануты своим учителем.
220. А между тем все вынесенные Достоевским в Сибири испытания были ничтожны по своему значению по сравнению с этой страшной необходимостью преклониться пред каторжными. «Знаешь ли ты, мой друг, слово „презрение“? И муки твоей справедливости — быть

- справедливым к тем, кто презирает тебя?» — спрашивает Ницше. И точно — нет больших мук в жизни. А Достоевскому пришлось узнать их. Каторжники презирали его, об этом свидетельствует чуть ли не каждая страница «Записок из мертвого дома», а сознание, совесть, «справедливость» не давали ему мстить тем же, отвечать на презрение презрением.
221. Он еще принужден был, как Ницше, взять сторону своих неумолимых врагов, признать в них — и, повторяю, не за страх, не по величию своей снисходящей к последнему человеку души, а за совесть, — учителей своих, высших, наиболее даровитых людей, которые своим существованием оправдывают все, что есть безобразного, ничтожного, ненужного в жизни, т. е. Достоевских, Тургеневых, Белинских и т. д.
222. Ответом является вся последующая литературная деятельность Достоевского. Униженными и оскорбленными отныне он уже почти не занимается, разве только иногда, между делом, по старой привычке. Любимая его тема — преступление и преступник. Пред ним неотступно стоит один вопрос: «Что это за люди каторжники? Как случилось, что они показались мне, продолжают казаться правыми в своем презрении ко мне, и отчего я невольно чувствую себя пред ними таким уничтоженным, таким слабым, таким, страшно сказать, обыкновенным. И неужели это — истина? Этому — нужно учить людей?»
223. В том, что у Достоевского был такой вопрос, сомневаться невозможно. Статья Раскольников ясно говорит об этом. В ней люди делятся не на добрых и на злых, а на обыкновенных и необыкновенных, причем в разряд обыкновенных зачисляются все «добрые», повинующиеся в своей духовной ограниченности нравственным законам; необыкновенные же создают законы, им — «все позволено».
224. Таким образом, «совесть» принуждает Раскольника стать на сторону преступника. Ее санкция, ее одобрение, ее сочувствие уже не с добром, а со злом. Самые слова «добро» и «зло» уже не существуют.
225. Их заменили выражения «обыкновенность» и «необыкновенность», причем с первым соединяется представление о пошлости, негодности, ненужности; второе же является синонимом величия.
226. Иначе говоря, Раскольников становится по ту сторону добра и зла», и это уже 35 лет тому назад, когда Ницше еще был студентом и мечтал о высоких идеалах. Правду сказал Разумихин — мысль совершенно оригинальная и целиком принадлежащая Достоевскому. В 60-х годах никому не только в России, но и в Европе ничего подобного и не снилось.
227. С кем борется Достоевский? Ответ: с собой и только с самим собой.
228. Он один во всем мире позавидовал нравственному величию преступника — и, не смея прямо высказать свои настоящие мысли, создавал для них разного рода «обстановки».
229. Сперва он выразил в «Записках из мертвого дома» свое преклонение пред каторжниками в такой форме, что соблазнил к нему самых «добрых» и чутких людей. Потом подставил под понятие народа каторжников. Потом всю жизнь воевал с теоретическими отступниками «добра», хотя во всемирной литературе был всего один такой теоретик — сам Достоевский. Ведь если бы в самом деле задача Достоевского сводилась к борьбе со злом, то он должен был бы себя превосходно чувствовать. Кто из его товарищей по перу не имел такой же задачи? Но у Достоевского была своя, оригинальная, очень оригинальная идея. Борясь со злом, он выдвигал в его защиту такие аргументы, о которых оно и мечтать никогда не смело. Сама совесть взяла на себя дело зла!..
230. Мысль, лежащая в основе статьи Раскольникова, развита подробно и в иной форме у Ницше, в его *zur Genealogie der Moral*, и еще прежде в *Menschliches, Allzumenschliches*. Я не хочу сказать, что Ницше заимствовал ее у Достоевского. Когда он писал свое «*Menschliches Allzumenschliches*», в Европе о Достоевском ничего не знали. Но можно с уверенностью утверждать, что никогда бы немецкий философ не дошел в «*Genealogie der Moral*» до такой смелости и откровенности в изложении, если бы не чувствовал за собой поддержки Достоевского.
231. Во всяком случае, очевидно, что, несмотря на фабулу романа, истинная трагедия Раскольникова не в том, что он решился преступить закон, а в том, что он сознавал себя неспособным на такой шаг. Раскольников не убийца; никакого преступления за ним не было.

История со старухой процентщицей и Лизаветой — выдумка, поклеп, напраслина. И Иван Карамазов впоследствии не был причастен к делу Смердякова. И его оклеветал Достоевский. Все эти «герои» — плоть от плоти самого Достоевского, надзвездные мечтатели, романтики, составители проектов будущего совершенного и счастливого устройства общества, преданные друзья человечества, внезапно устыдившиеся своей возвышенности и надзвездности и сознавшие, что разговоры об идеалах — пустая болтовня, не вносящая ни одной крупницы в общую сокровищницу человеческого богатства. Их трагедия — в невозможности начать новую, иную жизнь. И так глубока, так безысходна эта трагедия, что Достоевскому нетрудно было выставить ее как причину мучительных переживаний своих героев убийства.

232. Достоевскому же, подпольному человеку, каторжнику, российскому литератору, носившему закладывать в ссудные кассы женины юбки, вся эта мифология совсем не к лицу.
233. Кому он нужен? Сам Достоевский — необходимо это отметить — придавал большое значение своему учению, так же как и гр. Толстой, как Ницше, как все почти писатели. Он полагал, что может сказать людям, что им делать, как им жить. Но эта смешная претензия, конечно, так и осталась навеки претензией. Люди живут и всегда жили не по книгам.
234. Его мысль бродила по пустыням собственной души. Оттуда-то она и вынесла трагедию подпольного человека, Раскольникова, Карамазова и т. д. Эти-то преступники без преступления, эти-то угрызения совести без вины и составляют содержание многочисленных романов Достоевского.
235. «...Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история его перерождения, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомой действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен». Не звучат ли эти слова торжественным обетом? И не взял ли на себя Достоевский, как учитель, обязанности показать нам эту новую действительность, новые возможности для Раскольникова? Но дальше обета учитель не пошел.
236. В предисловии к «Братьям Карамазовым», уже последнему произведению Достоевского, мы опять сталкиваемся с тем же обещанием. Одного романа Достоевскому мало. Чтоб обрисовать своего настоящего героя, ему нужен еще один роман, хотя в «Братьях Карамазовых», растянувшихся на тысячу страниц, должно было бы хватить места и для «новой жизни».
237. А ведь между «Преступлением и наказанием» и «Братьями Карамазовыми» Достоевским были написаны целых три романа и все громадных: «Идиот», «Подросток», «Бесы»! Но об обете все не вспоминается. «Идиот» с князем Мышкиным, конечно, в расчет не может быть принят. Если только такое «новое» ждет человека, если нашим «идеалом» должен служить князь Мышкин, эта жалкая тень, это холодное, бескровное привидение, то не лучше ли совсем не глядеть в будущее?
238. А сверх этих качеств князь Мышкин — чистейший нуль. Вечно скорбя о скорбящих, он никого не может утешить.
239. Нет, князь Мышкин — выродец даже среди высоких людей Достоевского, хотя все они более или менее неудачны.
240. Достоевский понимал и умел рисовать лишь мятежную, борющуюся, ищущую душу.
241. Как только же он делал попытку изобразить человека нашедшего, успокоившегося, понявшего — он сразу впадал в обидную банальность. вспомните хотя бы мечты старца Зосимы о «будущем, уже великолепном соединении людей». Разве от них не отдает самым шаблонным *Zukunftsmalerei*, от которого даже и социалисты, так высмеиваемые в подполье, давно уже отказались?
242. Но отказаться от морализирования и предсказаний он не мог: только это и связывало его с остальными людьми.
243. Это в нем лучше всего понимали, это ценили, за это его в пророки возвели. А без людей, совсем без людей невозможно жить. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-

нибудь да пойти», — говорит Мармеладов. Вот на этот случай и требуется общепринятый мундир. Ведь не явиться же на люди со словами подпольного человека, с преклонением перед каторгой, со всеми «оригинальными» мыслями, наполнявшими голову Достоевского! Люди такого ближнего не захотят слушать, прогонят. Людям нужен идеализм, во что бы то ни стало.

244. О ком идет речь в сказании о великом инквизиторе? Кто этот кардинал, из рук которого народ принимает свои же собственные хлебы? Разве эта легенда не символ пророческой «деятельности» самого Достоевского? Чудо, тайна, авторитет — ведь из этих и только этих элементов составлялась его проповедь.
245. И Достоевский швыряет им это добро целыми пригоршнями, так что под конец и сам временами начинает думать, что такое занятие и в самом деле чего-нибудь стоит.
246. Правда, Достоевский умышленно не досказал главного. Сам великий инквизитор, дерзновенно взявшийся исправлять дело Христа, так же слаб и жалок, как и те люди, которых он третирует с таким презрением.
247. Он страшно ошибся в оценке своей роли. Он смеет сказать только часть истины — и не самую ужасную. Народ принял от него, не разбирая, не проверяя, идеалы. Но это лишь потому, что для народа идеалы — одна забава, обстановка, внешность. Детская, наивная, еще не знавшая сомнений вера его ничего больше не требует себе, как тех или иных слов для своего выражения. Оттого-то народ идет за всяким почти, кто захочет вести его за собой, и так легко меняет своих кумиров: *le roi est mort, vive le roi.*[31]
248. Но старый, измученный долгими думами, надломленный кардинал вообразил себе, что его немощная мысль способна формировать и давать твердое направление беспорядочным, хаотическим массам, что ей дано благодетельствовать сотни тысяч и миллионы людей... Какое счастливое ослепительно прекрасное заблуждение! И ведь не одному великому инквизитору в романе Достоевского оно свойственно. Во все времена все учителя думали, что ими держится мир, что они ведут своих учеников к счастью, к радости, к свету! На самом деле, пастухи были гораздо меньше нужны стаду, чем стадо пастухам.
249. Что случилось бы с великим инквизиторами, если б он не имел гордой веры, что без него погибло бы все человечество? Что сделал бы он со своей жизнью? И вот, глубокий старец, проникающий своим изощренным умом во все тайны нашего существования, не умеет (может быть, делает вид, что не умеет) видеть одного — самого для него главного. Он не знает, что не народ ему, а он народу обязан верой, той верой, которая хоть отчасти оправдывает в его глазах его длинную, унылую, мучительную и одинокую жизнь.
250. Он обманул народ своими рассказами о чудесах и тайнах, он принял на себя вид всезнающего и всепонимающего авторитета, он называл себя наместником Бога на земле. Народ доверчиво принял эту ложь, ибо и не нуждался в правде, не хотел ее знать; но старик кардинал, со всем своим почти вековым опытом, с изощренным пытливым и неустанным мышлением, не заметил, что и сам стал жертвой своего обмана, вообразил себя благодетелем человечества.
251. Гордое одиночество! Да разве современный человек может быть гордым наедине с собою? Пред людьми, в речах, в книгах — дело иное. Но когда никто его не видит и не слышит, когда он в глухую полночь, среди тишины и безмолвия дает себе отчет в своей жизни, разве смеет он употребить хоть одно высокое слово?
252. Несмотря на то, что он так красиво и обольстительно умел рассказывать о «гордом одиночестве» своего великого инквизитора, он понимал, что весь пышный маскарад высоких и громких слов опять-таки нужен не для него самого, а для других, для народа.
253. Хорошо было Прометею — он никогда не оставался один. Его всегда слышал Зевес — у него был противник, было кого злить и раздражать своим непреклонным видом и гордыми речами, значит, было «дело». Но современный человек, Раскольников или Достоевский, в Зевса не верит. Когда его покидают люди, когда он остается наедине с собой, он поневоле начинает говорить себе правду, и, Боже мой, какая это ужасная правда!
254. Как мало в ней тех пленительных и чудных образов, которые мы, по поэтическим преданиям, считали постоянными спутниками одиноких людей!

255. Вот, для примера, одно из размышлений Достоевского (собственно, Раскольников, но это, как мы знаем, все равно)
256. Еще триста лет тому назад был произнесен страшный приговор величайшим из поэтов над величайшим из идеалистов. Помните безумный крик Гамлета: «Распалась связь времен!» С тех пор эти слова не перестают варьироваться писателями и поэтами на бесконечные лады.
257. Но по настоящее время никто не хочет прямо сказать себе, что нечего и связывать раз прорвавшиеся звенья, нечего вновь вводить время в колею, из которой оно вышло. Все делаются новые и новые попытки восстановить призрак старого благополучия. Нам неустанно кричат, что пессимизм и скептицизм все погубили, что нужно вновь «поверить», «вернуться назад», стать «непосредственными» и т. д. И неизменно предлагают в качестве скрепляющего цемента старые «идеи», упорно отказываясь понять, что в идеях и было наше несчастье.
258. Он говорит об этом не в качестве дилетанта, начитавшегося книжек, а как человек, своими глазами все видевший, своими руками все ощупавший.
259. Иван Карамазов восстает против незыблемейших положений, лежащих в основе современного нравственного мировоззрения. Глава прямо начинается следующими словами: «Я тебе должен сделать одно признание, — сказал Иван, — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве дальних».[34] Алеша перебивает брата замечанием, долженствующим нам показать, что сам Достоевский не разделяет мнения Ивана. Но мы уже привыкли к назойливому и однообразному сюсюканью этого младенца, и оно мало нас смущает, тем более что память подсказывает нам другой отрывок, на этот раз уже из дневника писателя за 1876 год: «Я объявляю, — говорит там Достоевский, — что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой». Дело ясное: между словами Ивана Карамазова и самого Достоевского нет никакой разницы. Иван Карамазов ведь все время говорит в том предположении, что душа не бессмертна. Правда, он не приводит никаких доказательств в пользу своего «предположения», но ведь и Достоевский свое утверждение приводит «пока бездоказательно». Так или иначе, несомненно, что ни герой романа, ни автор не верят в спасительность идеи «любви к ближнему». Если угодно — Достоевский идет дальше Ивана Карамазова. «Мало того, — пишет он, — я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном нашем убеждении в этом страдании человечества — может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему[35] (подчеркнуто у Достоевского).
260. Если нельзя помочь ближнему, то и любить его нельзя.
261. Но ведь те именно ближние, которые обыкновенно претендуют на нашу любовь, бывают большей частью людьми, которым невозможно помочь, — я уже не говорю обо всем человечестве.
262. Достоевский (полагаю, что после приведенных цитат его больше не будут смешивать с Алешей) уже не верит во всемогущество любви и не ценит слез сочувствия и умиления.
263. Когда-то достаточно было воспеть страждущего, облиться над ним слезами, назвать его братом. Теперь этого мало; ему хотят во что бы то ни стало помочь, хотят, чтоб последний человек перестал быть последним и стал первым! Если же это неосуществимо, то любовь посылается к черту и на ее опустевшем троне поселяется навеки вечная ненависть...
264. В «Преступлении и наказании» основная задача всей литературной деятельности Достоевского затемняется ловко прилаженной к роману идеей возмездия. Доверчивому читателю кажется, что Достоевский и в самом деле судья над Раскольниковым, а не подсудимый. Но в «Братьях Карамазовых» вопрос поставлен с такой ясностью, которая уже не оставляет никаких сомнений в намерениях автора.
265. Раскольников — «виноват», он, по своему собственному, хотя и вынужденному пыткой, следовательно, не заслуживающему веры признанию, совершил преступление, убил. Люди снимают с себя ответственность за его страдания, как бы ужасны они ни были. Иван

Карамазов знает эту логику. Он знает, что если бы предложил на обсуждение свою собственную судьбу, то его тотчас бы уличили, так или иначе, что он «яблоко съел», как выражается Достоевский, т. е. виноват если не в действиях, то в помыслах. Поэтому он и не пытается о себе разговаривать. Он ставит свой знаменитый вопрос о неотмщенных слезах ребенка.

266. Достоевский, наконец, договорился до последнего слова. Он открыто теперь заявляет то, что с такими оговорками и примечаниями впервые выразил в «Записках из подполья»: никакая гармония, никакие идеи, никакая любовь или прощение, словом, ничего из того, что от древнейших до новейших времен придумывали мудрецы, не может оправдать бессмыслицу и нелепость в судьбе отдельного человека.
267. Он говорит о ребенке, но это лишь для «упрощения» и без того сложного вопроса, вернее, затем, чтоб обезоружить противников, так ловко играющих в споре словом «вина». И в самом деле, разве этот бьющий себя кулачонками в грудь ребенок ужаснее, чем Достоевский-Раскольников,
268. Да, есть на земле ужасы, которые и не снились учености ученых. Пред ними бледнеют рассказы Карамазова о зверстве турок, об истязании детей родителями и т. д. И «яблоко» здесь, конечно, ничего не объясняет. Нужно либо «отметить» за эти слезы, либо — но разве может быть какое-нибудь еще «либо» для тех, кто, подобно Достоевскому, сам проливал их?
269. Этот друг, при всей своей готовности помочь, не будет знать, что делать с тайной Раскольникова. Пожалуй, еще посоветует добрыми делами заниматься и таким способом успокаивать бедную совесть! Но Раскольников при одной мысли о добре приходит в ярость.
270. В его размышлениях уже чувствуется тот порыв отчаяния, который подсказал впоследствии Ивану Карамазову его страшный вопрос: «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит?» Чертово добро и зло, — вы понимаете, на что посягает Достоевский. Ведь дальше этого человеческое дерзновение идти не может. Ведь все наши надежды, и не только те, которые в книгах, но и те, которые в сердцах людей, жили и держались до сих пор верой, что ради торжества добра над злом ничем не страшно пожертвовать.
271. И люди были настолько легковверны, что из-за жалкой болтовни Алеши простили Достоевскому страшную философию Ивана Карамазова.
272. Во всей русской литературе нашелся только один писатель, Н. К. Михайловский, почувствовавший в Достоевском «жесточкого» человека, сторонника темной силы, искони считавшейся всеми враждебной.
273. Но даже и он не угадал всей опасности этого врага.
274. «Чертово добро и зло», казавшееся случайной фразой в устах чуждого автору героя романа, теперь облеклось в ученую формулу «по ту сторону добра и зла» и в таком виде бросает вызов тысячелетней вере всех живших доселе мудрецов.
275. И пред чем склонило у Достоевского «добро» свою гордую голову? Карамазов говорит о судьбе замученного ребенка. Но Раскольников требует ответа за себя, за одного себя.
276. И не находя у добра нужного ответа, отвергает его.
277. Его задача, все его стремления сводятся теперь к тому, чтобы оправдать свое несчастье, вернуть свою жизнь, — и ничего, ни счастье всего мира, ни торжество какой хотите идеи не может в его глазах дать смысл его собственной трагедии.
278. Он пытается вновь воскресить в своей памяти то понимание Евангелия, которое не отвергает молитв и надежд одинокого, загубленного человека, под предлогом, что думать о своем горе значит, как говорят на современном научном языке, «быть эгоистом».
279. Он знает, что здесь его скорбь будет услышана, что его уже не отошлют на пытку к идеям, что ему будет позволено сказать всю внутреннюю страшную правду о себе, ту правду, с которой он родился на свет Божий. Но всего этого он может ждать лишь от того Евангелия, которое читает Соня, еще не сокращенного и не переделанного наукой и гр. Толстым, от того Евангелия, в котором наряду с прочим учением сохранилось и сказание о воскресении Лазаря
280. Подобно тому как Раскольников ищет своих надежд лишь в воскресении Лазаря, так и сам Достоевский видел в Евангелии не проповедь той или иной нравственности, а залог новой жизни: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, — пишет он. — А

высшая идея на земле лишь одна (подчеркнуто у Достоевского), и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают».[37]

281. Но торжество науки, несомненность и очевидность ее правоты не приводят Достоевского к покорности. Ведь он уже давно сказал нам, что для него стена не непреодолимое препятствие, а только отвод, предлог. На все научные соображения у него один ответ (Димитрий Карамазов): «Как я буду под землей без Бога? Каторжному без Бога быть невозможно».[38]
282. своей научностью, своей приверженностью несомненной видимости, своим неверием
283. Такова ясная логика надземных людей, противопоставляемая неопределенным стремлениям обитателей подполья. Примирить спорящие стороны невозможно.
284. Они борются до последнего истощения сил — и *à la guerre, comme à la guerre*,[40] — средства борьбы не разбираются. Каторжников чернят, бранят, смешивают с грязью с тех пор, как стоит мир. Достоевский пробует применить те же приемы и к вольным людям. Отчего, например, не выставить в карикатурном, опошленном виде ученого? Отчего не высмеять Клода Бернара?
285. Все, рассказанное о Ракитине, настоящая клевета на либералов
286. Они зовут надземных людей в подземелье, в каторгу, в вечную тьму.
287. Но Достоевский в таком отношении к себе увидел свой приговор. Ему «плодотворности» не нужно было. Он не хотел довольствоваться красивой ролью старика кардинала в
288. «Великом инквизиторе». Одного, только одного искал он: убедиться в «истинности» своей идеи. И, если бы потребовалось, он готов был бы разрушить весь мир, обречь человечество на вечные страдания — только бы доставить торжество своей идее, только бы снять с нее подозрения в ее несоответствии с действительностью.
289. Хуже всего было то, что в глубине души он и сам, очевидно, боялся, что правота не на его стороне, и что противники, хотя и поверхностней его, но зато ближе к истине. Это-то и возбуждает в нем такую ярость, это-то и лишает его самообладания, оттого он в своей полемике против пр. Градовского переходит всякие границы приличия. Что, если все происходит именно так, как говорят ученые, и его собственная деятельность в конце концов, помимо его воли, сыграет в руку либералам, окажется плодотворной, а руководившая им идея — ложной, и чертово добро рано или поздно на самом деле водворится на земле, заселенной довольными, радостными, сияющими счастьем, обновленными людьми?
290. Само собою разумеется, что человеку таких воззрений и настроений благоразумнее всего было бы не пускаться в публицистику, где неизбежно сталкиваешься с практическим вопросом: что делать? В романах, в философских рассуждениях можно, например, утверждать, что русский народ любит страдания. Но как применить такое положение на практике? Предложить устройство комитета, охраняющего русских людей от счастья?! Очевидно, это не годится. Но мало того — невозможно даже постоянно выражать свою радость по поводу предстоящих человечеству случаев понести страдание. Нельзя торжествовать, когда людей постигают болезни, голод, нельзя радоваться бедности, пьянству. За это ведь камнями забрасают.
291. Правда, как публицист, Достоевский таких вещей не говорил прямо. Его «жестокость» не рисковала еще быть столь откровенной. Даже более того, он сам никогда не пропускал случая бичевать — и как бичевать! — всякого рода проявления жестокости.
292. Таких примеров у Достоевского можно найти очень много. На одной странице он требует от нас самоотречения во имя того, чтоб избавлять от страданий ближних, а на другой, почти соседней, он воспекает эти же страдания...
293. Из этого следует, что подземному человеку нечего сказать, когда он выступает в роли учителя людей. Чтоб выдержать такую роль, ему необходимо навсегда затаить свою истину и обманывать людей, как делал старый кардинал.
294. Но поразительно: когда человеку грозит неминуемая гибель, когда пред ним раскрывается пропасть, когда уходит последняя надежда, с него внезапно снимаются все его тягостные обязанности в отношении к людям, человечеству, к будущему, цивилизации, прогрессу и

- т. д., и взамен всего этого предьявляется упрощенный вопрос об его одинокой, ничтожной, незаметной личности. Все герои трагедии — «эгоисты». Каждый из них по поводу своего несчастья зовет к ответу все мироздание.
295. «Жажду жизни, — говорит Карамазов, — иные сопляки-моралисты называют подлою...»[44] У Достоевского ни один из его допрашивающих судьбу героев не кончает самоубийством, не считая Кириллова, который если и убивает себя, то не за тем, чтоб отделаться от жизни, а чтоб испытать свою силу. В этом отношении все они разделяют точку зрения старика Карамазова: они забвения не ищут, как бы трудно им ни давалась жизнь.
296. О таких-то вещах размышлял Достоевский. Эти головокружительные квадрильоны пройденных километров, эти биллионы лет вынесенной бессмыслицы ради двух секунд райского блаженства, для которого нет на человеческом языке слов, суть лишь выражение той жажды жизни, о которой здесь идет речь.
297. Иван Карамазов, как и отец его, — эгоист до мозга костей. Он не то, что не может, он не хочет пытаться как-нибудь растворить свою личность в высшей идее, слиться с «первоединым», природой и т. п., как рекомендуют философы. Хотя он и получил очень современное образование, но он не боится пред лицом всей философской науки предъявить свои требования.
298. Читателю, может быть, кажется, что если и есть бессмертие, то во всяком случае не для такой погани, как Федор Павлович, и что наверно найдется какой-нибудь такой закон, который положит конец этому отвратительному существованию. Но Достоевский о взглядах читателя мало заботится.
299. Соответственно этому, все безобразное, отвратительное, трудное, мучительное, словом, все проблематическое в жизни находит себе страстного и талантливейшего выразителя в Достоевском. Он, словно нарочно, растаптывает на наших глазах дарование, красоту, молодость, невинность. В его романах больше ужасов, чем в действительности. И как мастерски, как правдиво эти ужасы описаны! У нас нет ни одного художника, который умел бы так рассказать о горечи обиды и унижения, как рассказывает Достоевский.
300. Достоевский собирал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтоб вновь с неведомой силой ударить по сердцу читателя, но на этот раз уже не затем, чтобы читатель стал добрее и великодушно согласился по воскресеньям и в праздничные дни называть последнего человека своим братом. Теперь задача другая. Теперь нужно вырвать от науки, от «эфики», как выражаются Ракин и Дмитрий Карамазов, признание, что благополучное устройство большинства, будущее счастье человечества, прогресс, идеи и т. д., словом, все то, чем до сих пор оправдывались гибель и позор отдельных людей — не может разрешить главного вопроса жизни.
301. Когда столь оклеветанный всеми «эгоизм» приводит к трагедии, когда борьба одинокого человеческого существа превращается в непрерывную пытку, ни у кого не хватит бесстыдства говорить высокими словами. Умолкают даже и верующие души...
302. Людей можно образумить, философов и моралистов можно сдержать в их погоне за синтезом и объединением в систему указанием на судьбу трагических людей. Но что поделаешь с жизнью? Как заставить ее считаться с Раскольниковыми и Карамазовыми?
303. У нее ведь ни стыда, ни совести нет. Она равнодушно глядит на человеческую комедию и человеческую трагедию. Этот вопрос переводит нас от философии Достоевского к философии его продолжателя Ницше, впервые открыто выставившей на своем знамени страшные слова:
304. апофеоз жестокости.
305. Мы проследили историю перерождения убеждений Достоевского. В основных чертах она сводится к попытке реабилитации прав подпольного человека. Если мы теперь обратимся к сочинениям Ницше, то, несмотря на то, что с внешней стороны они так мало похожи на то, что писал Достоевский, мы прежде всего найдем в них несомненные и ясно выраженные следы тех настроений и переживаний, которые нас поразили в творчестве этого последнего. И Ницше был в молодости романтиком, заоблачным мечтателем.

306. «Menschliches, Allzumenschliches», сочинению, в котором он в первый раз в жизни, еще робко и осторожно, позволяет себе взглянуть на мир и людей собственными глазами. За этот опыт ему пришлось расплатиться дорогой ценой. Большинство его друзей, в том числе и сам Вагнер, отвернулись от него.
307. Никто из них, как это всегда бывает, не заинтересовался причиной внезапного перелома, происшедшего в душе Ницше. Друзья лишь подняли крик, что он «изменил» прежним убеждениям и нашли, что этого вполне достаточно, чтоб осудить человека.
308. Все знали, что Ницше тяжело и мучительно болен. Но и в этом не видели смягчающих вину обстоятельств.
309. Так что в самую трудную минуту своей жизни, когда человек, по общему мнению, наиболее всего нуждается в нравственной поддержке, Ницше оказался совершенно одиноким.
310. Правда, общее мнение в этом случае, как и во многих других, под
311. видом несомненной истины преподносит нам несомненное заблуждение. В действительно трудные минуты жизни поддержка друзей обыкновенно ничего не дает и не может дать человеку, и лишь тяготит его назойливым требованием откровенности и признаний.
312. В такие моменты лучше всего оставаться одному.
313. Хватит сил вынести свое несчастье — выйдешь победителем. Не хватит — все равно, никакой Вагнер не поможет.
314. Я говорю, конечно, не об обыкновенных житейских трудностях, при которых всегда два ума лучше, чем один, а о тех случаях, когда, по выражению Достоевского, земля трещит под ногами.
315. А ведь в жизни они бывают гораздо чаще, чем в романах. Тут друзья ничем не могут помочь. Но друзья Ницше и не думали помогать ему. Они стали его врагами и, не желая дать себе труд понять человека, мстили ему презрением.
316. И точно, как бы человек ни презирал себя, в глубине души его всегда живет еще надежда, что он все-таки отыщет выход из своего трудного положения. Приговор же людей беспощаден, неумолим, окончателен. Его между делом бросают осужденному с тем, чтоб никогда уже вновь не пересмотреть его...
317. Ему казалось тогда, что самое ужасное, что может случиться с человеком, это — разрыв с учителями, измена прежней вере и убеждениям. Он думал, что убеждения однажды на всю жизнь получают человеком из рук достойных учителей.
318. Хотя он и много читал, но ему и в голову не пришло, что такие полученные готовыми от других людей убеждения менее ценны, чем собственный, выработанный своими испытаниями, своими страданиями взгляд на жизнь.
319. То есть, если хотите, он знал и это. Даже сам высказывался в этом смысле, ибо в книгах, которые он читал (хотя бы у Шопенгауэра), об этом не раз и подробно говорится. Но когда наступил «опыт», когда пришла неизвестность, Ницше, как и все люди в его положении, не догадался, что это — то, о чем говорится в книгах. Он лишь с ужасом почувствовал, что в душе его зашевелилось нечто неслыханно безобразное и ужасное.
320. В своих муках, в своей безнадежности он не узнал прославленного «страдания», которое он вслед за Шопенгауэром благословлял и призывал в своем первом произведении — «Рождении трагедии». Он так мало казался себе похожим на героя, на одного из многих интересных грешников, вроде Тангейзера, так красиво позировавших в операх Вагнера.
321. Наоборот, когда он оглядывался на свое прошлое, оно представлялось ему непрерывным рядом позорнейших унижений.
322. Если в этих словах резюмируется «прошлое» Ницше, то можно ли поверить, что при прощании с ним человек испытывал чувство благодарности и признательности? Не вероятнее ли, что статьи «Вагнер в Байрейте» и «Шопенгауэр как воспитатель» были написаны лишь потому, что Ницше все еще продолжал чувствовать на себе взгляд Вагнера (а может быть, и не одного Вагнера) и не в силах был бороться с его гипнотизирующим влиянием.
323. Да и как бороться? Для этого прежде всего нужно было вырвать из себя уважение к себе, назвать свое прошлое настоящим именем, признаться, что газетные критики, которых он привык считать жалкими и недостойными людишками, были правы, называя его

«литературным лакеем Вагнера». Иными словами, нужно обречь себя на существование «последнего человека».

324. Ницше все еще надеется, что может быть еще полезным своей партии хотя бы тем, что словами будет поддерживать ее принципы и стремления.
325. Разве кого-нибудь, и самого Ницше, это открытие поразило, ужаснуло? Нет, конечно. На земле и без Давида Штрауса осталось достаточно примечательных философов и образцовых стилистов.
326. Если бы Ницше объективно рассудил, то мог бы легко убедиться, что и его собственный случай не имеет особенного значения. А если бы он к тому же еще припомнил основные положения философии Шопенгауэра, то мог бы вполне утешиться в своем несчастье. Ведь «воля» осталась неизменной, стоит ли думать о том, что индивидуум, т. е. один из миллиардов случаев ее объективации, оказался раздавленным?
327. Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи и в честь Шопенгауэра и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья. Но и то сказать, кому нужна была его правда? И что мог бы он рассказать, если бы хотел говорить правду? Признаться открыто в своей негодности? Но разве мало на свете негодных людей? И разве такое признание могло кого-нибудь поразить или заинтересовать? Ведь, в сущности, ничего особенного и не произошло. Ницше думал о себе, что он достойный человек, предназначенный для важного и значительного дела. Оказалось, что он ошибся, что он был ничтожным и жалким человеком. Такие случаи часто бывают в жизни. О них никто и не вспоминает.
328. Но обыкновенно «основные положения философии» мгновенно испаряются из памяти, как только человек серьезно столкнется с жизнью.
329. Ницше проклинает своих учителей за то, что они погубили его юность...
330. Но спросим опять: *wozu solch Lärm?* Что такое случилось? Ницше погибает? Разве это достаточное основание, чтобы проклинать философию Шопенгауэра и музыку Вагнера? Если мы вспомним первые произведения Ницше, если мы прислушаемся к «учению» Заратустры о сверхчеловеке, то нам покажется, что, в сущности, Ницше решительно не было никакой нужды так волноваться. Не удалась одна жизнь — нет в том никакой беды. Природа производит индивидуумов миллионами, и ее задача не в сохранении и развитии отдельных экземпляров, а в совершенствовании вида, породы. Так говорил Шопенгауэр. Так или почти так говорил и Заратустра. Что с того, что погибли юношеские мечтания одного профессора? Разве человечеству это грозит какой-нибудь опасностью?
331. Уже в «*Menschliches, Allzumenschliches*» он поднимает вопрос о «ценности неэгоистических мотивов, об инстинктах сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые именно Шопенгауэр так долго золотил, обожествлял, опотусторонивал (*verjenseitigt*), пока они, наконец, не стали для него ценностями *an sich*[50]». [51]
332. Вместо того чтобы покориться и радоваться в своем несчастье прошлым успехам и новым надеждам человечества — что наиболее бы соответствовало выраженным в «Рождении трагедии» убеждениям — Ницше решает своей судьбой проверять справедливость и истинность завещанных нам тысячелетиями и столько раз блестяще оправданных лучшими умами человечества идеалов.
333. И для разрешения этого вопроса он уже не обращается, как прежде, когда писал свои первые произведения, к философам, поэтам, проповедникам, словом, к учениям, передававшимся людьми из поколения в поколение. Он чувствует, что во всем этом он не найдет ответа для себя, словно все учителя человечества сговорились молчать о том, что для него важнее всего.
334. «Я принадлежу, — пишет он в 1875 году, когда ему уже было тридцать лет и когда действительность стала уже предъявлять к нему свои первые грозные требования, — к числу тех читателей Шопенгауэра, которые, прочитав первую страницу его сочинений, уже наверное знают, что прочтут все, что он писал и вообще внимательно прислушаются к

- каждому его слову. Он сразу приобрел мое доверие, и теперь оно не меньше, чем было девять лет тому назад. Я понимаю его, как будто он писал нарочно для меня».[53]
335. Шопенгауэр же менее всего годится в учителя юношеству уже ввиду тех вопросов, о которых у него идет речь и до которых молодому человеку, даже даровитому, обыкновенно очень мало дела. Не лучше обстояло дело и с музыкой. И Вагнер с его операми опасен для незрелых людей, принуждая их до времени входить в чуждые и недоступные им сферы. Впоследствии сам Ницше вполне ясно сознал это.
336. Романтизм далеко не всегда уродует и коверкает человеческую судьбу. Наоборот, часто он счастливо оберегает людей от столкновения с действительностью и способствует сохранению на долгие годы того прекрасноты, той ясности и светозарности взглядов, того доверия к жизни, которые мы выше всего ценим в философах.
337. Правда, может, в этом отзыве немецкого профессора позволительно видеть некоторую политическую хитрость. Может быть, проф. Риль, не находя удобным все сплошь порицать в Ницше и желая иметь вид беспристрастного и справедливого судьи, предпочитает преувеличенно похвалить ту книгу Ницше, которая наиболее похожа на то, что пишут все, с тем чтоб развязать себе руки и уже потом свободно нападать на остальные его произведения.
338. Но судьба решила иначе. Вместо того чтобы предоставить Ницше спокойно заниматься будущим всего человечества и даже всей вселенной, она предложила ему, как и Достоевскому, один маленький и простой вопрос — о его собственном будущем. И проникновенный философ, бестрепетно глядевший на ужасы всего мира, смутился и потерялся, как заблудившееся в лесу дитя, пред этой несложной и почитающейся легкой задачей. В этом деле его прошлая ученость оказалась для него бесполезной, даже тягостной.
339. Некоторое время Ницше делает попытки примирить свою новую действительность со старыми «убеждениями». Как уже указано, он пишет статьи о Вагнере и Шопенгауэре, надеясь, что привычка возьмет свое и он снова сживется с так необходимой ему теперь верой в идеалы. Но расчет был ошибочен.
340. Притворное служение и для человека в обыкновенных обстоятельствах — дело очень нелегкое. Для Ницше же, в его ужасном положении, оно обратилось в настоящую пытку. Он увидел, что жить по-старому невозможно.
341. И с чем вышел он на новый путь? Что имел он взамен прежних убеждений? Ответ заключается в одном слове: ничего. Ничего, кроме отвратительных физических страданий в настоящем, позорных, унижительных воспоминаний о прошлом и безумного страха перед будущим. У него не могло быть никакой надежды, ибо на что способен разбитый, больной человек, потративший лучшие годы жизни на бесполезные, ненужные, ничего ему не принесшие занятия? До 30 лет он, как наш Илья Муромец, сиднем сидел, созерцая чужие идеалы. Теперь нужно встать и идти — но ноги отказываются служить, а благодетельные старцы с волшебным напитком не являются и не явятся: в наше время чудес не бывает.
342. Что может он рассказать нам? Что он страдает, страдал? Но мы слышали уже довольно жалоб от поэтов, и молодой Лермонтов давно уже высказал открыто ту мысль, которую другие держали про себя. Какое дело нам, страдал Ницше или нет? И затем — поэты дело иное. Они ведь не просто жалуется; кто стал бы их слушать, если бы они «просто» жаловались! Они облачают свои жалобы в звучные и красивые стихи, из их слез вырастают цветы. Мы любуемся цветами и не думаем о слезах; божественная гармония стиха заставляет нас радоваться даже самому печальному напеву. Но Ницше — философ: он не умеет и не должен петь.
343. Недурное признание, не правда ли? Искусство понимается как умышленная фальсификация действительности, философии же рекомендуются те же приемы. Иначе нельзя вынести ужаса и холода одиночества.
344. И затем, разве нам дано произвольно изменять «взгляд»? Мы видим то, что видим, что лежит пред нами, и никакие усилия воли не могут представить нам черное белым и наоборот. Ницше, по-видимому, думает иначе.
345. Когда-то он, защищая Вагнера и Шопенгауэра, говорил о вещах, до которых ему не было никакого дела, но с таким видом, как будто они имели для него значение, теперь же,

- выступая на новом поприще «адвоката жизни», он снова, по-видимому, подавляет в себе все протесты, все личное, все свое с тем, чтобы прославлять своего нового клиента.
346. Или опять совесть и стыд пред людьми соблазняют Ницше к чуждой ему вере и убеждают больного и обездоленного притворяться здоровым и счастливым?
347. Мы уже теперь должны отметить, что во всех своих сочинениях, вплоть до самых последних, в которых Ницше выступает решительнейшим имморалистом и безбожником, в которых он берет своим девизом страшные слова, служившие в средние века таинственным паролем одной из магометанских сект, столкнувшихся в Св. Земле с крестоносцами: «Нет ничего истинного, все дозволено», — во всех своих сочинениях, все время и неизменно Ницше апеллирует к какой-то высшей инстанции, называемой им то просто жизнью, то «совокупностью жизни», и не смеет говорить от своего собственного имени.
348. Тем более что встречающиеся у Ницше и так часто ставившиеся ему в упрек противоречия в его суждениях имеют своим главным источником это преклонение пред новым «молохом абстракции», заменившим теперь собою многочисленных старых.
349. И ни у кого не было сомнения, что между добром и злом, говоря более общим языком, такого рода отношения сохраняются на веки вечные: зло не в силах победить презрение добра и потому втайне само себя презирает.
350. Так было во времена Шиллера. Теперь же обстоятельства изменились. Теперь дон Карлосы ждут от Филиппов, как милостыни, — их ненависти, но кроме презрения ничего не добиваются. Пример — Достоевский с каторгой или Ницше, с такой страшной ясностью выразивший эту мысль в уже приведенных однажды словах Заратустры: «Знаешь ли ты, мой друг, слово презрения и муки твоей справедливости — быть справедливым к тем, кто презирает тебя».
351. Что делать нам с сочинениями писателя, который, по собственному неоднократно выраженному признанию, писал в своих книгах так, как будто бы он был не тем, чем он был на самом деле? Русскому читателю манера Ницше, правда, не в диковинку. У нас есть Достоевский, который говорит так, как будто бы он был не подпольным человеком, не Раскольниковым, не Карамазовым, который симулирует и веру, и любовь, и кротость, и что хотите. У нас есть гр. Толстой, писавший из «тщеславия, корыстолюбия и гордости», как он сам в порыве позднего раскаяния рассказывает в «Исповеди». Так что прямо отвергнуть Ницше нам нельзя, если бы мы и хотели, ибо пришлось бы вслед за ним отвергнуть также и Достоевского, и гр. Толстого.
352. И если бы литературная деятельность Ницше ограничилась лишь первыми четырьмя томами его сочинений, то самый тонкий и сочувственный взгляд не уловил бы в них целей автора.
353. В них уже нужно искать и в них есть уже все то, что впоследствии привело Ницше к формуле «по ту сторону добра и зла», к апофеозу жестокости, к прославлению эгоизма, к учению о вечном возвращении, к *Wille zur Macht* — и даже к идеалу сверхчеловека.
354. Так что историю о самолечении приходится принять с большими ограничениями и даже пока совсем отвергнуть.
355. Быть принужденным бороться с инстинктами, это — формула *décadence*'а: пока жизнь развивается, счастье равнозначуще инстинкту».[60]
356. Все это относится к Сократу и к его проповеди борьбы с самим собою или «теории исправления», как выражается Ницше.
357. Когда же дело коснулось его самого — теории словно не бывало. Оказывается, что не только можно бороться с декадансом, но что за такой борьбой обеспечен верный успех — хватило бы лишь мужества, настойчивости и энергии.
358. Здесь важно лишь то обстоятельство, что он, имея все «объективные» данные причислить себя к погибшим людям, декадентам, Сократам — не только не причислил себя к этой категории, но наоборот, торжественно и уверенно отделил себя от нее. В этом сказалась не черта Ницше, а черта общечеловеческая. Никто из нас, несмотря ни на какую внешнюю очевидность, не подпишет себе нравственного приговора. Это неотъемлемое свойство человеческой природы, о котором большинство людей, благодаря разного рода возвышенным учениям, ничего и не слыхало.

359. Не слышал об этом и Ницше, пока учился у Вагнера и Шопенгауэра.
360. Пока обстоятельства складывались благоприятно, мог ли бы кто-нибудь (и он сам в том числе) заподозрить в этом кротком, мягком, умевшим быть так глубоко и бескорыстно преданным человеке «змеиное жало» или, оставив метафоры, ту крайнюю степень эгоизма, которая привела подпольного человека к дилемме: существовать ли миру или пить чай ему, подпольному герою?
361. Мог ли кто-нибудь, повторяю, глядя на Ницше, с таким самоотвержением и с такой осмысленной настойчивостью отдававшего всю душу свою служению науке и искусству, предположить, что не наука и не искусство, и не мир, и не человечество служило для него главной целью?
362. И что в тот момент, когда волею судеб пред Ницше предстанет уже не теоретически, а практически вопрос — что сохранить, воспетые ли им чудеса человеческой культуры или его одинокую, случайную жизнь, он принужден будет отказаться от заветнейших идеалов своих и признать, что вся культура, весь мир ничего не стоят, если нельзя спасти одного Ницше? Эта мысль казалась ему безумной;
363. Она пугала его теми опустошениями, которые она несла с собой людям, она представлялась ему чудовищной по своей бесплодности, ибо кроме уничтожения и отрицания, кроме нигилизма, она, по-видимому, ничего не могла дать.
364. Но отречься от нее было не так легко. Ницше не первый и не последний боролся с ней. Мы видели, какие невероятные усилия делал гр. Толстой, чтоб вырвать с корнем, выкорчевать из своей души все остатки эгоизма. Или Достоевский. Но эгоизм не только не ослабевал, а усиливался, и все в новой форме предъявлял свои права: у него, как у сказочного змея, вместо каждой отрубленной головы являлись две новые. Так было и с Ницше.
365. Здесь оригинальна только форма, мысль же стара, как мир. Укажите мне философа или моралиста, который не считал бы своей обязанностью превозносить богатую и высокую жизнь в ущерб бедной и узкой? Только в Евангелии сказано: блаженны нищие духом, но современная, да и не только современная, а всякая когда-либо существовавшая наука понимала эти слова очень условно или, если уже говорить прямо, вовсе их не понимала и с привычной почтительностью обходила их, как обходят на больших собраниях старых, заслуженных, но никому не нужных и приглашенных лишь для приличия гостей. Все знали, что блаженны богатые духом, а нищие жалки и ныне, и во веки веков.
366. В суждении Ницше заключается лишь эта давно всем известная аксиома.
367. Ведь нищий-то духом был он сам. Ведь он-то и подкапывался, он-то и подвергал сомнению все великое, высокое и богатое, и единственно затем, чтобы оправдать свою жалкую и бедную жизнь — хотя этот мотив всегда у него необыкновенно тщательно и последовательно скрывается.
368. Ницше «замораживает» все, что от века чтилось людьми, осмеивает героя, гения, святого.
369. Должно быть, говорил он, есть ужасно много глупых теорий, если может существовать такое мнение. Еще бы не много! Я спросил бы, есть ли хоть одна «умная» теория? И мог ли бы гр. Толстой быть тем, что он есть, если бы он держался своих теоретических взглядов в жизни?
370. Если бы он точно «отрекся от себя» и где-нибудь в тиши, далеко от всех глаз, никем не видимый, никому не слышимый проводил свои дни за плугом или в благочестивой беседе с соседями-мужиками?
371. Эта «воля» соблазнила Ницше осудить Сократа. Да кого только Ницше (и гр. Толстой) ни осуждал? И что было бы с человеческим родом, если бы все такого рода осуждения не оставались пустыми звуками, а имели бы власть над действительной жизнью?
372. И, главное, ведь, в конце концов, он сам всеми силами хочет высказаться, открыть читателю свою мучительную тайну, как и Достоевский в своем «Великом инквизиторе». Иначе для чего были бы предисловия?
373. Если Ницше не высказывался до конца жизни прямо и открыто, то лишь потому, что не смел отважиться на такой подвиг, вернее потому, что не наступило еще время говорить с людьми обо всем откровенно. В их сознании уже брезжит новая истина, но она пока кажется не истиной, а пугалом, страшным призраком, пришедшим из иного, чуждого нам мира. Ее не

решаются назвать настоящим именем, о ней говорят полунамеками, условными знаками, символами. Мы видели, на какие хитрости пускался Достоевский: его мысль почти невозможно фиксировать; за ней даже уследить трудно; она скользит и вьется точно угорь и под конец, словно умышленно, пропадает в густом тумане непримиримых противоречий. То же у Ницше.

374. Шопенгауэр справедливо заметил, что «необходимое условие для понимания как поэзии, так и истории составляет собственный опыт: ибо он служит как бы словарем того языка, на котором они говорят».
375. Так у Достоевского мысль подпольного человека прячется под формой обличительной повести: «смотрите, дескать, какие бывают дурные и себялюбивые люди, как овладевает иногда эгоизм бедным двуногим животным». Ницше же не романист, он не может говорить «устаами» посторонних будто бы героев, ему нужна научная теория.
376. Он мог бы, как Достоевский, удариться в крайний идеализм и выступить в роли обличителя. Он мог бы бичевать все проявления эгоизма, т. е. рассказывать о собственных «низких» помыслах и метать громы и молнии по адресу своих читателей, как делает гр. Толстой.
377. Но в «Menschliches, Allzumenschliches» и «Morgenröthe» перед нами — позитивист, утилитарист, рационалист, холодно и спокойно сводящий все высшие и благороднейшие проявления человеческой души к низшим и элементарнейшим, в целях будто бы теоретического познания.
378. «Шопенгауэр учит жертвовать своим я, подчинять себя благороднейшим целям — прежде всего справедливости и милосердию».[71]
379. Возможно ли поверить, что он сразу отказался от «благороднейших» целей и признал свои человеческие запросы единственно законными и справедливыми?
380. Чем больше он убеждал себя в необходимости отказаться от своего я, чем ярче он рисовал себе картину будущего преуспевания человечества, тем горше, обиднее и больнее было ему думать, что на торжестве жизни не будет его, что он даже лишен возможности деятельно способствовать грядущей победе человечества.
381. «Люди достигнут своих высших целей, не будет на земле ни одного униженного и жалкого существа, истина будет сиять всем и каждому — разве этого мало, чтоб утешить твою бедную душу, разве это не может искупить твоего позора? Забудь себя, отрекись от себя, гляди на других, любуйся и радуйся будущим надеждам человечества, как учили мудрецы с древнейших времен. Иначе — ты дважды ничтожность. Иначе ты не только разбитый, но и нравственно погибший человек». Такие и еще более страшные слова, употребляемые человеком только наедине с собой и до сих пор не вынесенные на свет Божий ни одним из самых смелых психологов — даже Достоевским, — нашептывала Ницше его воспитанная в идеалистических учениях совесть.
382. Ницше понял тогда, что от людей ему больше нечего ждать. В первый раз в жизни почувствовал он, что значит полное одиночество. Весь мир был против него и он, поэтому, — против всего мира. Компромисс, уступка, соглашение — невозможно. Ибо одно из двух: либо Ницше прав, либо точно его трагедия так глубока, так неслыханно ужасна, что все люди должны забыть свои обычные радости и огорчения, свои повседневные заботы и интересы и вместе с ним надеть вечный траур по безвинно загубленной молодой жизни, либо он сам должен отречься от себя и не притворно, а от всей души исполнить те требования, которые предъявлялись к нему от имени вечной мудрости. Но если нельзя было принудить весь человеческий род страдать горем одного немецкого профессора, то и наоборот, в такой же мере невозможно было никакими пытками и угрозами вырвать у этого немецкого профессора добровольное отречение от своих прав на жизнь. Весь мир и один человек столкнулись меж собой и оказалось, что это две силы равной величины; более того, на стороне «мира» были все традиции прошлого, вся вековая человеческая мудрость, собственная совесть Ницше, наконец — сама очевидность, а на стороне Ницше — что было на его стороне, кроме одного отчаяния?..
383. Правда, борьба была ужасная, неслыханная. Но тем более она поражает нас. Не кроется ли в ней та правда о человеке, о которой шла речь в конце предыдущей

384. главы? И не значит ли это, что восставая вместе с миром на Ницше, человеческая правда — была ложью?
385. Повсюду, куда он ни обращался, он слышал эти холодные, безжалостные слова. Самые высокие ультраметафизические учения в этом случае несколько не отличались от суждений обыкновенных, простых, никогда не заглядывавших в книги людей.
386. Шопенгауэр, Кант, Спиноза, материалисты, позитивисты, глядя на Ницше и его судьбу, не могли ничего ему сказать, что не исчерпывалось бы знаменитой фразой, обращенной флегматическим белорусом к тонувшему товарищу: «Не трать, Фома, здоровья, ступай ко дну».
387. Ницше же чувствовал, что все метафизические и нравственные идеи для него совершенно перестали существовать, между тем как так оклеветанное «я», разросшись до неслыханных, колоссальных размеров, заслонило пред ним весь мир...
388. «Ведь вот я же имел не менее благородный и идеальный вид, чем все другие писатели, я горячо и хорошо проповедовал добро, взывал к истине, пел гимны красоте — не хуже, пожалуй, чем сам Шопенгауэр в своих юношеских произведениях. А между тем один тяжелый удар судьбы, простой, ординарный, глупый случай, несчастье, которое могло бы приключиться со всяким, с великим и с малым сего мира — и я вдруг убеждаюсь, что тот эгоизм, которого я никогда в себе не подозревал, свойствен мне так же, как и обыкновенным смертным. Не значит ли, что и все другие учителя притворяются, что и они, когда вещают об истине, добре, любви, милосердии — только играют торжественную роль, — кто добросовестно и в неведении, как когда-то я, а кто, может быть, недобросовестно и сознательно? Не значит ли, что все великие и святые люди, если бы их поставить на мое место, так же мало могли утешиться своими истинами, как и я? И что, когда они говорили о любви, самопожертвовании, самоотречении, под всеми их красивыми фразами, как змея в цветах, скрывался тот же проклятый эгоизм, который я так неожиданно открыл в себе и с которым я так безумно и так напрасно борюсь?»
389. В его сочинениях мы имеем десятки свидетельств о том, сколько колебаний и сомнений пришлось испытать ему в первое время своего самостоятельного творчества.
390. «Как можно, — спрашивает он себя, — находить удовольствие в той тривиальной мысли, что мотивы всех наших поступков могут быть сведены к эгоизму?».[72] Уверенности, как видите, еще нет: мысль представляется ему тривиальной, но какая-то непонятная еще ему самому сила влечет его к ней.
391. «В этой книге вы видите подземного человека за работой — как он роет, копает, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать в глубине, как он медленно, осторожно, с кроткой неумолимостью идет вперед, не слишком выдавая, как трудно ему так долго выносить отсутствие света и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что он доволен своей темной работой. Начинает даже казаться, что его ведет какая-то вера, что у него есть свое утешение... Ему, может быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо он знает, что его ждет: свое утро, свое избавление, своя заря».[73]
392. С тех пор, как стоит мир, ни одна власть еще добровольно не соглашалась стать предметом критического обсуждения; критиковать нравственность, принимать ее как проблему, как нечто проблематическое — разве это не значило самому стать безнравственным?
393. Но нравственность располагает не только всякого рода устрашающими средствами, чтоб отпугивать от себя беспощадную критику; ее сила и прочность еще больше коренятся в свойственном ей особом искусстве очаровывать людей: она умеет вдохновлять. Одного ее взгляда бывает достаточно, чтобы парализовать критическую волю, переманить ее на свою сторону, даже обратить ее против нее же самой, так что критик, подобно скорпиону, впивается жалом в свое собственное тело.
394. Обитателей подполья утилитаризм сознательно игнорирует, понимая, что он им ничем помочь не может. Правда, он ставит своей задачей счастье людей и принципиально никому не желает отказывать в праве на жизнь. Но в тех случаях, когда человеку отказано в этом так

- называемыми независимыми обстоятельствами, утилитарная мораль ничего не может поделаться и, не желая открыто признавать свое бессилие, бросается в объятия идеализму.
395. Незаметно для неопытного глаза, она слова «счастье людей» заменяет другими, с виду очень похожими словами — «счастье большинства».
396. Но сходство здесь лишь внешнее. «Счастье большинства» не только не значит то же, что «счастье людей», но значит прямо противоположное. Ибо во втором случае предполагается, что все будут устроены, в первом же меньшинство приносится в жертву большинству.
397. Но Ницше уже давно распростился с идеалами. «Счастье большинства» его не прельщало. Жертва? Может быть, он еще способен был вдохновиться этим красивым словом — но, увы! ему уже нечем было жертвовать. Что мог отдать он? Свою жизнь? Но это было бы не жертвой, а самоубийством. Он рад был бы умереть, чтоб избавиться от постылой жизни. Но к алтарю сносятся лишь богатые дары, и измученное, надломленное, изуродованное существование не по вкусу добру, которое, как языческие идола, требует себе молодые, свежие, прекрасные, счастливые, нетронутые страданием жизни.
398. Я, впрочем, полагаю, что настоящие позитивисты предпочли бы не иметь в своей библиотеке даже «Menschliches, Allzumenschliches» и «Morgenröthe». Несмотря на то, что в этих книгах Ницше ведет постоянную войну с метафизикой, он обнаруживает в своих научных стремлениях беспокойство, граничащее с бестактностью.
399. Сила позитивизма в умении обходить молчанием все вопросы, признаваемые им принципиально неразрешимыми, и направлять наше внимание лишь на те стороны жизни, где не бывает непримиримых противоречий: ведь и границы нашего познания именно там кончаются, где начинаются непримиримые противоречия.
400. Разве кантовская теория априорности не приводит к абсурду, к тому, что называется на философском языке теоретическим эгоизмом, т. е. к необходимости каждому человеку думать, что кроме него нет больше никого во всей вселенной? Наиболее добросовестные кантианцы и не скрывают этого.
401. Метафизика пугала положительного мыслителя.
402. Уже Шопенгауэр воспользовался теорией Канта об идеальности времени для объяснения явлений ясновидения. И ведь его заключение логически безупречно.
403. Как видите, последовательность в заключении чисто «математическая». Милль, при его добросовестности, принужден был бы, скрепя сердце, уверовать в ясновидение, если бы только признал априорность времени.
404. только опытом, т. е. прошлой историей
405. Так что всего один неприятный момент, зато эмпирическое обоснование достоверности нашего знания — это такой оплот против скептицизма, с которым не выдержат сравнения никакие метафизические теории познания, даже кантовские.
406. Всякий человек, сколько-нибудь опытный в философских вопросах, отлично знает, что до сих пор еще не была придумана ни одна система, совершенно свободная от противоречий.
407. Может быть, об этом и не следует слишком громко говорить, но ведь еще Шопенгауэр заявил, что всякая философия, не признающая предпосылок, есть шарлатанство.
408. Эта тайна неизвестна только непосвященным.
409. Они только способны подорвать доверие к науке вообще, т. е. ко всем попыткам упростить, успокоить, пригладить, приручить действительность. Они лишь открывают путь скептицизму, который, как коршун за добычей, следит за всякого рода доведенными до абсурда догматами и, следовательно, из-за ничем не оправдываемых теоретических притязаний предают общее дело самому опасному врагу, какой только может существовать.
410. Ибо главная задача науки, как и морали, состоит в том, чтоб дать людям прочную основу в жизни, научить их знать, что есть и чего нет, что можно и чего нельзя. Пути же к этому все-таки дело второе; во всяком случае, они не так важны, чтобы из-за них забывать основную цель.
411. Что мог он предвидеть? Что прошлого не вернуть? Что он никогда не излечится и сойдет в конце концов с ума? Это он и без позитивизма и без науки знал. А кантовский идеализм с венчающей его нравственностью категорического императива разве говорил иное? Ницше

был и остался близок только язык скептицизма, и не того салонного или кабинетного скептицизма, который сводится к словесному остроумию или построению теорий, а того скептицизма, который проникает в душу человека и навсегда выбивает его из обычной жизненной колеи.

412. Но Ницше все их заботы были чужды; наоборот, их опасения были его надеждами. Его жизнь еще значила, могла значить что-нибудь только в том случае, если все ученые построения были лишь добровольным самоограничением пугливого человеческого ума.
413. Его жизненная задача сводилась именно к тому, чтоб выйти за пределы тех областей, куда его загоняли традиции науки и морали. Отсюда его ненависть к науке, выразившаяся в борьбе с философскими системами, и отвращение к морали, давшее формулу «по ту сторону добра и зла». Для Ницше существовал лишь один вопрос: «Господи, отчего ты покинул меня?»[78] Знаете вы эти простые, но исполненные такой беспредельной скорби и горечи слова?
414. Отсюда тот странный, чуждый людям характер философии Ницше. В ней нет устойчивости, нет равновесия. Она их и не ищет: она живет противоречиями, как и мировоззрение Достоевского. Ницше не пропускает случая посмеяться над тем, что называется прочностью убеждения.
415. Отчего бы не заложить их корни, по примеру Канта и гр. Толстого, в иной мир, так чтобы люди не только бы уверовали в их истинность, но убедились бы даже, что они имеют потустороннюю, метафизическую основу?
416. Но, очевидно, Ницше занимает не «жизнь», о которой он так хлопочет, а нечто иное, по крайней мере, не такая жизнь, как та, которая до сих пор оберегалась позитивизмом, синтетическими суждениями а priori и их жрецами, учителями мудрости. Иначе он не стал бы выкрикивать чуть ли не на площади профессиональную тайну философии, а наоборот, постарался бы как можно глубже скрыть ее.
417. И оправдывая таким рискованным способом синтетические суждения а priori, Ницше лишь стремится скомпрометировать их, чтоб открыть себе путь к полной свободе исследования, чтоб отвоевать себе право говорить о том, о чем люди молчат.
418. «Страдание спрашивает о причинах; удовольствие же склонно оставаться при самом себе и не оглядываться назад».[82]
419. Но и не всякое страдание научает нас спрашивать. Человек является в жизнь позитивистом, и ему вовсе не нужно пройти сперва через теологический и метафизический периоды, чтоб приобрести вкус к той ограниченности познания, которая рекомендуется положительной философией. Наоборот — он избегает слишком большой мудрости и даже от страдания он прежде всего старается избавиться, отделаться.
420. Там процесс отыскания истин изображается совсем иначе, там мыслить значит спокойно, последовательно, хотя и с напряжением, но безболезненно переходить от заключения к заключению до тех пор, пока искомое не будет найдено. У Ницше же мыслить значит терзаться, мучиться, корчиться в судорогах.
421. У Достоевского, если вы помните его романы, тоже никто из героев не размышляет по правилам логики: везде у него неистовства, надрывы, плач, скрежет зубный. Философ-теоретик видит во всем этом ненужные, даже вредные излишества. Спиноза говорит: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*.[84] Он думает, что «понять» можно путем отвлеченного или, как его охотно называют, объективного размышления. Но что «поняла» до сих пор философия?
422. Правда, суеверие всегда жило между людьми и нельзя назвать такой эпохи, когда бы какая-нибудь ошибка не почиталась истиной, и великой истиной.
423. Но никогда еще люди не были так глубоко убеждены в непогрешимости их методологических приемов, как в наше время. Наш век ведь называют веком скептицизма *par excellence*.[86] иначе говоря, полагают, что ежели мы что-либо выдаем за истину, то лишь после самого тщательного и внимательного ее исследования, когда уже не может относительно нее быть никакого сомнения. «Верить» же мы совсем не умеем, если бы даже и

хотели. А между тем уже с детства мы приучаемся «верить» — и, главное, верить самым неправдоподобным вещам!

424. Колдун, ведьма, дьявол — это только нечто новое, но понятное, не противоречащее очевидности. Вертящаяся же земля, неподвижное солнце, фиктивное небо и т. п. — все это ведь верх бессмыслицы для ребенка. И тем не менее это — истина, он знает это наверное и с этой неправдоподобной истиной он живет целые годы. Разве такое насилие над детским умом может не изуродовать его познавательные способности?
425. Забудьте на минуту, на одну минуту, если только это возможно, свою «школу», и вы сразу убедитесь, что развитие мира ужасно неестественно: естественно бы было, если бы не было ничего — ни мира, ни развития.
426. И как может обыкновенный человек, только человек, отважиться на такой страшный подвиг, возвестить открыто: нет ничего истинного, все позволено? Не нужно ли ему для этого прежде всего перестать быть человеком, не нужно ли ему отыскать в себе иные, еще неизвестные, неиспытанные силы, которыми мы до сих пор пренебрегали, которых мы боялись?
427. Молитва Ницше была услышана: небожители послали ему безумие. Во время одной из его уединенных прогулок по горам швейцарского Энгадина его внезапно, точно молнией, поразила мысль о «вечном возвращении» — и с этого момента характер его творчества совершенно изменяется. Теперь пред нами уже не подпольный человек, робко и осторожно под прикрытием чуждых ему теорий подкапывающийся под принятые убеждения. К нам говорит Заратустра, верующий в свою пророческую миссию, осмеливающийся свое мнение противопоставлять мнению всех людей. Но странно, несмотря на то, что Ницше видел в идее о вечном возвращении начало и источник своего нового мировоззрения, он нигде подробно и ясно не развивает ее. Несколько раз в «Also sprach Zarathustra» он начинает говорить о ней, но каждый раз обрывает речь чуть ли на полуслове. Так что невольно приходит в голову подозрение, что «вечное возвращение», в конце концов, было только неполным и недостаточным выражением испытанного Ницше внезапного душевного подъема. Это становится тем более вероятным, что самая идея — стара и не принадлежит Ницше. О ней говорили уже пифагорейцы, и Ницше, специалист классической филологии, конечно, не мог не знать этого. Очевидно, что для него она имела другое значение, чем для древних, и что соответственно этому он мог с ней связывать и иные надежды. И точно, какой новый смысл могло дать его жизни обещание вечного возвращения? Что мог он почерпнуть в убеждении, что его жизнь, такая, какой она была, со всеми ее ужасами, уже несчетное количество раз повторялась и затем столь же несчетное количество раз имеет вновь повториться без малейших изменений? Если бы Ницше в «вечном возвращении» видел только то, о чем говорили пифагорейцы, — оно бы принесло ему мало новых надежд!
428. Что шепнул Заратустра жизни? Что это за тайна, которой никто, кроме Заратустры, не знает? Очевидно, что она имеет прямое отношение к «вечному возвращению», но, во всяком случае, менее отвлеченна и бессодержательна. Жизнь измучила Заратустру, он хочет расстаться с ней, но тайна, которую он один знает, примиряет его со страданием и научает любить действительность больше, чем мудрость.
429. И, наоборот, раз «вечное возвращение» дало ему новые силы, то, стало быть, оно обещало ему нечто иное, чем простое повторение того, что он уже имел в действительности. Можно поэтому с уверенностью сказать, что идея эта являлась для Ницше прежде всего символическим протестом против господствующей ныне теории познания с ее практическими выводами относительно роли и значения в мире отдельного человека. Она выражала не все, что думал Ницше. Оттого-то он, хотя и называет себя учителем вечного возвращения, учит чему угодно, кроме возвращения; свою же «последнюю мысль» он отказывается прямо назвать. По-видимому, пред лицом тысячелетних предрассудков или убеждений человечества даже «безумие» не имеет смелости быть до конца откровенным.
430. Вы видите, что в «вечном возвращении» существенно не определяемое слово, а определяющее, т. е. не возвращение, а вечность.
431. Как ни глубока скорбь, она должна пройти и уступить место непреходящей радости.

432. Но оставим догадки о невысказанных тайнах Ницше: если он молчал, то у него были на то свои основания; есть вещи, о которых можно думать, но нельзя говорить иначе, чем символами и намеками.
433. Наследник своих предков, он может лишь на мгновения покидать привычную атмосферу позитивизма, и для него жизнь за пределами того, что называется познаваемым миром, как ни влечет его к ней, не есть еще «нормальная» жизнь.
434. Каждый раз, как из-под его ног уходит почва — его охватывает мистический ужас; он сам не знает, что с ним происходит: видит ли он новую действительность или ему только грезятся страшные сны. Пред ним поэтому постоянная трагическая альтернатива: с одной стороны положительная, но опустошенная, бессодержательная действительность, с другой стороны — новая жизнь, манящая, обещающая, но пугающая, точно привидение.
435. Неудивительно, что он постоянно колеблется в выборе пути и то страшными заклинаниями вызывает свою «последнюю мысль», то впадает в полное безразличие, почти в отупение, чтобы отдохнуть от чрезмерного душевного напряжения.
436. В современной литературе вы не встретите ни одного писателя, который жил бы такими быстро изменчивыми настроениями, какие вы наблюдаете у Ницше: в одну и ту же почти минуту вы можете застать его на двух совершенно противоположных полюсах человеческой мысли...
437. Конечно, молодежи, «молодому поколению», как говаривали у нас в старину, нужно указание, нужен ответ на вопрос: что делать? Но нет необходимости обращаться с ним к Ницше, Достоевскому или гр. Толстому, т. е. к людям, выбитым из обычной жизненной колеи.
438. Чему может научиться ученик у такого учителя, как гр. Толстой?..
439. Проф. Риль справедливо заметил, что Ницше не годится в учителя. Его сочинения не дают и не могут дать твердых и неизменных правил для руководства ученикам. Он сам постоянно экспериментирует, делает опыты над собой.
440. Да и вообще, человек, однажды изменивший своим убеждениям, уже не годится в учителя, ибо убеждения на срок ничего не стоят. Ведь главное их достоинство в том, что они обещают устои на всю жизнь. Убеждения не доказываются, а принимаются, если не всецело, то хоть отчасти на веру, верить же можно лишь тому, что незыблемо, что, по крайней мере на наших глазах, не подвергалось колебаниям. И настоящий учитель, человек, которого со спокойной совестью можно рекомендовать в руководители юношеству, должен прежде всего уметь дать своим ученикам как можно более «вечные» принципы, годные для всякого возраста, при всяких обстоятельствах. Такие учителя никогда не переводятся, таких учителей много, — «молодое поколение» обыкновенно к ним и обращается за поучением и наставлением, и от них получает все, что ему нужно.
441. Загляните в учебники истории литературы — что сделали немцы из своего Гете! При существующих комментариях даже подростку не страшно дать в руки «Фауста». А между тем с «учительской» точки зрения разве может быть еще более вредное и безнравственное произведение? Гр. Толстой недаром в «Что такое искусство» отвергнул Гете! И в самом деле, чего нужно Фаусту? Он прожил длинную, честную, трудовую жизнь, пользуется уважением и почетом народа, к нему отовсюду стекаются ученики, которым он может внушать идеи добра и передавать те, хотя и ограниченные, но полезные познания, которые ему удалось приобрести долгими годами упорных занятий. Кажется, радоваться бы ему на свою старость, а он недоволен, заводит дела с дьяволом и продает врагу человеческого рода свою душу за Маргариту. Что это такое? Ведь, говоря простым языком, это значит: седина в бороду, а бес в ребро. Меня удивляет только, что гр. Толстой не вспомнил по поводу «Фауста» эту удивительную русскую поговорку. Его любимые собеседники, «умные мужики», наверное бы так рассудили.
442. С их точки зрения Вагнер куда выше и нравственнее Фауста, а меж тем у Гете он представлен карикатурным глупцом, и только потому, что он, как учат Милль и Кант, держался пределов познаваемого мира и не вступал в сношения с чертями. Попробуйте применить к Фаусту кантовское правило нравственности: что вышло бы, если бы все люди

поступали как Фауст, забрасывали свою почтенную и полезную ученую деятельность и на старости лет начинали влюбляться в Маргарит. А Вагнер выдержит кантовский принцип! И с точки зрения утилитарной — Милля — он выйдет правым, и Спиноза принужден будет похвалить его. Кант и Гете писали почти одновременно. Но Кант строжайшим образом воспрещал всякого рода мыслям о вечном возвращении, чертям и Маргаритам смущать свой философский покой: всем им место в умопостигаемом (или, говоря обыкновенным языком, в непостижимом) мире. Гете же звал их к себе и предоставлял Вагнерам жить по кантовской морали... По-видимому, Раскольников был прав, и точно существуют две мерки, одна для обыкновенных, другая для необыкновенных людей. Фаусты не теряют нашего уважения, хотя, несмотря на мудрые поговорки и философские учения, позволяют себе пренебрегать принятой моралью и, отвернувшись от идеальных благ, даваемых ученым кабинетом и просветительной деятельностью, ищут жизни для себя. Фауст — «эгоист»? Высшие натуры — эгоисты, и мораль самоотречения предоставлена посредственным Вагнером?

443. Но, повторяю еще раз, моралистические идеи гораздо более, чем всякие другие построения, жили до сих пор «предпосылками», целиком добывавшимися из наблюдений внешних человеческих отношений. Моралистами руководило то же инстинктивное стремление к ограничению поля наблюдения, какое было и у ученых, когда они создавали свои теории естественного развития. Категорический императив у Канта, утилитарные принципы у Милля имели лишь одно назначение — приковать человека к средним, привычным жизненным нормам, которые предполагались в равной мере годными решительно для всех л
444. И у Канта, и у Милля была глубокая вера, что закон нравственности так же обязателен, понятен и близок сердцу каждого человека, как и закон причинности. Если он и может потерять свою обязательность, то разве где-нибудь на иной планете или в бесконечно отдаленном будущем (у Канта в умопостигаемом мире), здесь же, на нашей земле, он должен быть признан всеми без исключения смертными. Но если находятся люди, которые не желают отказаться от «действия без причины» и вместо того, чтоб искать следов произвола в недоступных и безразличных для нас сферах, пытаются открыть отсутствие закономерности уже здесь на земле, подле себя, то как можно рассчитывать на их готовность подчинить свою волю, которую они знают свободной, общим нормам единственно для торжества ученого порядка, который они ненавидят больше всего в мире?
445. Не естественно ли, что они поведут себя совсем иначе и, подобно господину с ретроградной физиономией в «Записках из подполья», станут нарушать правила единственно лишь затем, чтоб уничтожить всякий закон? Ни кантовское глубокомыслие, ни ясность и убедительность доказательств Милля не произведут на них никакого впечатления. Глубокомыслием этих людей не удивишь, а что касается диалектики, то даже сам Гегель спасовал бы пред подпольным философом Достоевского.
446. Они не случайно и даже не в силу своего беспокойного характера ищут на нашей земле, где наука нашла столько строгой гармонии и порядка, хаоса и произвола: порядок и гармония давят их, они задыхаются в атмосфере естественности и законности. И никакая наука, никакая проповедь не привяжут их к той действительности, которая в суждениях признанных мудрецов до сих пор признавалась единственно реальной.
447. Но в области нравственных отношений, где их свобода ничем не стеснена, кроме отвлеченных предписаний моралистов — здесь только им дано отпраздновать свою победу. Сколько ни хлопочи Кант и Милль, здесь — подпольные люди в этом уже перестали сомневаться — их царство, царство каприза, неопределенности и бесконечного множества совершенно неизведанных, новых возможностей.
448. здесь гений уступает посредственности, здесь Милль и Кант потеряли бы свои учено устроенные головы, если бы только хоть на минуту решились оставить огороженный априористическими суждениями мирок и заглянуть в царство подполья...
449. И поразительно! Людей постоянно предостерегают против скептицизма и пессимизма, их непрерывно убеждают в необходимости во что бы то ни стало сохранить веру в идеалы, но ни предостережения, ни убеждения не оказывают никакого действия: нас всех влечет роковая сила вперед, к неизвестности.

450. Не вправе ли мы видеть в стихийности этого влечения залог будущего успеха и не должно ли в силу того уже теперь искать в пессимизме и скептицизме не врагов, а неузнанных друзей?.. — Раскольников судил правильно: точно существуют две морали, одна для обыкновенных, другая для необыкновенных людей или, употребляя более резкую, но зато и более выразительную терминологию Ницше — мораль рабов и мораль господ. Но тут является существеннейший вопрос: каков источник той и другой морали?
451. Однако Фауст дожил до глубокой старости, прежде чем ему пришлось в голову протестовать против «собачьей» жизни, и, если бы не счастливое вмешательство Мефистофеля, он бы так и умер в ореоле добродетельности. То же можно сказать о Достоевском и Ницше: из вагнеровской колеи обыкновенности их выбил случай. Если бы не каторга у одного и не ужасная болезнь у другого, они бы и не догадались, как не догадывается большинство людей, что они по рукам и по ногам скованы цепями.
452. Они писали бы благонамеренные сочинения, в которых воспевали бы красоту мира и возвышенность покорных необходимости душ: их первые сочинения слишком убедительно об этом свидетельствуют.
453. Словом, все эти «необыкновенные» люди, восставшие против оков обязательности законов природы и человеческой морали, восставали не по доброй воле: их, точно крепостных, состарившихся на господской службе, насильно принуждали к свободе. Это не было «восстание рабов в морали», как учит Ницше, а нечто такое, чему на человеческом языке нет слов. «Характер», значит, тут ни при чем, и если существуют две морали, то не мораль обыкновенных и необыкновенных людей, а мораль обыденности и мораль трагедии — эту поправку необходимо внести в терминологию Достоевского и Ницше.
454. Этим обстоятельством объясняется, между прочим, и так поражающая осведомленность Достоевского и Ницше относительно тончайших изгибов «рабской» души, то, что в них хвалят как психологическую проницательность.
455. Для Ницше «добро» — синоним бессилия, «добрые» же — немощные, но хитрые завистники, решившиеся ни пред чем не отступить, чтоб только выместить на своих противниках, «злых», несчастье своей бедной и жалкой жизни.
456. Пожалуй, и счастье счастливых интересовало его только теоретически, как аргумент: моралисты донимают нас картинами человеческого горя — отчего же не противопоставить им иных картин, отчего бы не показать им, как «несчастные» ближние, подобно заразе, отравляют существование тех, кто еще сохранил физическую и душевную крепость?
457. Русскому читателю, воспитанному на проповедях Достоевского и гр. Толстого, не мешало бы хоть раз убедиться в том, что сила красноречия, страстность тона, искренность могут быть направлены не только в защиту того, что у нас по традиции принято называть «правдой»; что можно так же пророчески вдохновиться делом «зла», как и делом «добра».
458. Но если можно одинаково «негодовать» в защиту сильных против слабых и слабых против сильных, то где же, наконец, истина? Кто «прав», гр. Толстой или Ницше?
459. Или негодование, пафос, страстность сами по себе ничего не значат и нисколько не обеспечивают правоты дела, за которое они стоят?
460. А то, пожалуй, сильные или слабые, добро или зло, правота или неправда — все это только предлог, и патетические проповедники имеют совсем иные цели и заботы?
461. И точно, с какой стати проповедники обращаются со своим негодованием к нам? Почему гр. Толстой или Достоевский говорят нам о бедствиях человечества? Не естественно ли, наконец, нам, в свою очередь, обратиться со всеми этими вопросами к ним? Пусть гр. Толстой, до сих пор еще продолжающий доказывать, что стыдно быть счастливым, когда на свете столько несчастья, объяснит нам, в чем источник его собственного душевного мира, и почему ему не стыдно вести спокойную и радостную (любимое его слово) жизнь, когда вокруг него столько горя!
462. Ницше, до 30 лет исполнявший жалкую роль прислужника Вагнера (трудно повторить, но нужно было бы сказать — литературного лакея Вагнера), от 30 до 44 лет мучавшийся тяжелыми и отвратительными припадками неизлечимой болезни, и от 44 лет до смерти, т. е.

- почти 11 лет проведенный в полубессознательном состоянии, выступает с проповедью против несчастных и больных, т. е. физиологически искалеченных!
463. И одновременно против их защитников «добрых и справедливых»! Ведь эта психологическая загадка стоит того, чтоб над ней подумать!
464. Но вот эти-то слезы сочувствия, как и вызывающую сострадание поэзию, Достоевский и Ницше ненавидели больше всего в мире. Взгляд или, если хотите, «вкус» истинных каторжников, подпольных людей, людей трагедии.
465. У них уже давно нет слез и они знают, что слезы не помогают, а сострадание — бесплодно.
466. Но ведь и многое другое не помогает, не только слезы и сострадание, — отчего же такая ненависть к состраданию? Но ведь «злые» тоже не в силах изменить участь безнадежно осужденного — отчего же такое отвращение к «добрым и справедливым»? Не оттого же только, что добрые и справедливые плохо научили Ницше и Достоевского, преподавши им теорию самоотречения?
467. Это-то возведенное в идеал сострадание, как и его жрецы, возбуждают в Ницше все негодование, на какое только он способен. Он видит, что у него хотят купить права первородства за чечевичную похлебку. И хотя он сам почти не верит в эти права, но торга он не примет. Он с презрением и ужасом отвергает предлагаемые ему дары, чтоб только не отказаться от возможной борьбы.
468. Он сам был «несчастливым» и видел, что сострадание, единственное целебное средство, которым располагает мораль, ужаснее, нежели полное равнодушие.
469. Сострадать человеку значит признать, что больше ему ничем нельзя помочь.
470. Для Ницше ясно, что «добрые» страдают несчастным лишь затем, чтобы не думать об их судьбе, чтоб не искать, чтоб не бороться:
471. Бедные «добрые и справедливые»! Могли ли они, так глубоко веровавшие в непогрешимость своей истины, думать, что их ждет такое страшное обвинение. А между тем ему уже две тысячи лет. Уже две тысячи лет тому назад Некто, взглянув в их сердца, сказал — они фарисеи. Его не поняли, это правда. Его не понимают и теперь и, — кто знает? — может быть, никогда «все» не поймут, ибо, говоря его же словами, люди не ведают, что творят.
472. Может быть, те, которые не понимают, и не должны понимать. Зачем только говорят они «горе тем, которые здесь ищут»? Зачем они обращают свою грубую силу против Достоевских и Ницше? Или и это «нужно»? Но Ницше и Достоевский уже не считаются с нуждами добрых и справедливых (Миллей и Кантов). Они поняли, что человеческое будущее, если только у человечества есть будущее, покоится не на тех, которые теперь торжествуют в убеждении, что у них есть уже и добро, и справедливость, а на тех, которые, не зная ни сна, ни покоя, ни радостей, борются и ищут и, покидая старые идеалы, идут навстречу новой действительности, как бы ужасна и отвратительна она ни была.
473. Как и всякий почти писатель, т. е. человек, говорящий к людям, он поневоле до некоторой степени приспособлялся к своей аудитории и предоставлял в своих суждениях не только совещательный, но иногда и решающий голос публике.
474. Так делал и Достоевский, который чувствовал себя, как мы видели, еще более связанным «духом времени», чем Ницше. Слушатели же чутко и жадно подмечали и вылавливали из слов учителей «свое», знакомое, понятное — и об остальном нисколько не заботились. У Достоевского и у Ницше нашли мораль — кто новую, кто старую. Быть может, будущие поколения так же спокойно станут читать их, как теперь читают Гете. Понемногу истолковывающая критика приспособит Заратустру и Раскольникова к нуждам «добрых и справедливых», убедивши их, что Ницше и Достоевский боролись с отвлеченными или уже исчезнувшими навсегда фарисеями, а не с той всегда существующей обыденностью (позитивизмом и идеализмом), которая является самым опасным и неумолимым врагом людей трагедии.
475. Ницше говорил, что когда он бывает на людях — он думает как все, и потому, главным образом, искал уединения, что только наедине с собой чувствовал свою мысль свободной.
476. Этим и страшна обыденность: она гипнотизирует миллионами своих глаз и властно покоряет себе одинокого мыслителя.

477. И в одиночестве трудно жить!
478. Ницше с горькой насмешкой замечает: «В одиночестве ты сам пожираешь себя; на людях — тебя пожирают многие: теперь — выбирай!»[94]
479. Но в конце концов приходится выбирать одиночество; все же оно лучше, чем «оставленность», т. е. сознание, что среди огромного множества людей ты всем чужд:
480. Читатель видит теперь, в чем задача Ницше: он берет на себя дело оставленного, забытого добром, наукой и философией человека.
481. Имени естественного развития! Имени необходимости! Разве пред лицом этих бессильных богов альтруизм значит больше, чем эгоизм, даже преступление? Здесь все различия, установленные человеком, стираются, сглаживаются, уничтожаются на веки вечные. Если эгоизм ничего не значит, если нужно отречься от себя, то нужно уже заодно отречься и от ближнего и от всего, что дорого людям.
482. Потому-то людям трагедии, «оставленным», приходится вести двоякую борьбу: и с «необходимостью», и со своими ближними, которые еще могут приспособляться, и потому, не ведая, что творят, держат сторону самого страшного врага человечества.
483. Отсюда и двухчленная формула Ницше: «Нет ничего истинного, все дозволено». Первая часть ее направлена против необходимости и естественного развития. Вторая — против людей, сознательно или бессознательно становящихся на защиту «законов природы», которые так оскорбляли Достоевского.
484. Ницше же не только не стремится устранить из жизни все загадочное, таинственное, трудное и мучительное, но ищет всего этого. В законах природы, в порядке, в науке, в позитивизме и идеализме — залог несчастья, в ужасах жизни — залог будущего. Вот основа философии трагедии: к этому приводят скептицизм и пессимизм, которых когда-то так испугался Кант и от которых до сих пор люди, каждый на свой лад, отрешиваются, как от опаснейших чудовищ...
485. Ницше ставили в вину его ненависть к слабым и обездоленным и его аристократическую мораль. Я уже заметил, что всякого рода мораль — и аристократическая, и демократическая — была Ницше чужда. Его задача лежит «по ту сторону добра и зла».
486. Он, как и Карамазов, не принимает моралистического истолкования и оправдания жизни. Но в ненависти к «слабым» он повинен, они ему были так же противны, как и их постоянные защитники, «добрые и справедливые». Не своим несчастьем, не своими неудачами, а готовностью принять «сострадание», которое им предлагают в утешение. Они вошли в заговор против жизни, чтоб забыть о своих несчастьях, — это Ницше считает страшнейшим из преступлений, изменой великому делу, и этого он никогда и никому не прощал.
487. Но Ницше в конце концов все же добился своего. Он осмелился не только поставить вопрос подпольного человека, но и дать на него ответ. «Великие эпохи нашей жизни, — говорит он, — начинаются тогда, когда мы приобретаем смелость переименовать в добро то, что мы в себе считали злом».[98]
488. Это значит, что Ницше решается видеть в своем «эгоизме», который он когда-то называл «змеиным жалом» и которого так боялся, уже не позорящее, а возвышающее свойство.
489. Так что, ввиду этого, слово «аристократ» следует заменить другим, менее красивым словом «подпольный человек»
490. В том и вся громадная заслуга Ницше, что он умел пред лицом всего мира отстоять «эгоизм» бедности, не той бедности, с которой борются общественными реформами, а той, для которой и в благоустроеннейшем государстве будущего не найдется ничего, кроме сострадания, добродетелей и идеалов.
491. Ведь в государстве будущего так же нет места для трагических людей, как и в государствах современных, и так называемая буржуазная мораль там будет лишь настолько изменена, насколько это нужно для «счастья большинства».
492. Для людей же вроде Достоевского и Ницше она будет целиком сохранена, им по-прежнему достанутся в удел прославленные аскетические идеалы и то «прекрасное и высокое», которое так надавило за тридцать лет затылок подпольному человеку. Но Ницше добродетелей и аскетизма не хочет и в мораль самоотречения не верит. Недаром он столько времени

- выслеживал «психологию» проповедников нравственности. Он знает уже, что все пышные слова о самоотречении были притворством в устах моралистов и философов.
493. Итак, *pergat mundus, fiam*, пусть весь мир погибнет, подпольный человек не откажется от своих прав и не променяет их на «идеалы» сострадания и все прочие блага в том же роде, специально для него уготовленные современной философией и моралью. Для Достоевского это было страшной истиной, которую он с ужасом и стыдом решался высказывать от имени героев своих романов. У Ницше это новая и величайшая «декларация прав», ради которой и была им предпринята вся подземная работа. Отсюда и жестокость Ницше.
494. Эти слова чрезвычайно характерны для философии Шопенгауэра и для всякой философии вообще. Мудрость официальных мудрецов всегда смотрела на страдание как на нечто нелепое, бессмысленное, ненужное по самой своей сущности, чего следует во что бы то ни стало избегать. И так называемая житейская мудрость, поскольку она выражалась в словах, всегда точно так же относилась к страданию. Большинство народных поговорок рекомендуют умеренность и аккуратность как высшие добродетели, наилучше обеспечивающие человеку счастливое и спокойное существование. Не гонись за журавлем в небе, а бери синицу — только в руки. А между тем человеческая жизнь, руководимая не поговорками и изречениями мудрецов, а такая, какой она была во все времена и у всех народов, представляется именно вечной, неустанной погоней за недающимся в руки счастьем, этим журавлем в небе, от которого нас так предостерегали всегда моралисты.
495. От синиц с отвращением бегут, хотя их насильно почти суют всем в руки. Генрих IV мечтал о том, чтобы у каждого поселянина была по воскресеньям к обеду курица. Если бы и поселяне видели в курице свой идеал и стремились только к спокойной и тихой жизни, жертвуя, как учат Шопенгауэр и поговорки, «наслаждением», только бы не страдать, может быть, история человечества была бы менее ужасна. Но поселяне, как и их правители, иначе смотрели на жизнь и никогда не ставили своим идеалом безболезненное существование.
496. Наоборот, человек такой, каким создала его природа, за мгновение счастья, за призрак счастья готов принять целые годы страдания и великого несчастья. В таких случаях он забывает всякие расчеты, всякий счет и идет вперед к неизвестности, часто на верную гибель.
497. Где правда, в словесной ли мудрости или в действительности? Точно ли нужно так бояться неизвестности, страдания и гибели, как привыкли думать мы, учившиеся люди, черпающие свои суждения из веками накопленных книг, или простой человек, не разучившийся доверять своим непосредственным побуждениям, знает больше, чем ученейшие философы? С точки зрения современной положительной науки тут, конечно, и вопроса не может быть. Но Достоевский, побывавший в каторге, узнал от своих товарищей по заключению, т. е. у людей, которых бесстрашие перед страданием привело в мертвый дом, иную истину. Из каторги он вынес «убеждение», что задача человека не в том, чтоб плакать над Макаром Девушкиным и мечтать о таком будущем, когда никто никого уже не будет обижать, а все устроится спокойно, радостно и приятно, а в том, чтоб уметь принять действительность со всеми ее ужасами.
498. Не хотелось, о, как не хотелось ему принимать эту каторжную истину! Он думал сперва, что отделается от нее платоническим уважением и снова заживет по-старому! Но не человек гоняется за истиной, как полагал Шопенгауэр, а истина за человеком. Каторжная мудрость нагнала Достоевского через много лет, когда он уже жил далеко от Сибири, в Петербурге, среди окружавших его положительных мыслителей, и заставила его признать себя, служить себе. «Русский народ любит страдания» — это не был парадокс, как думали противники Достоевского, — это была истина, только истина из другого мира, о котором пишущие люди забыли, о котором вспоминали лишь затем, чтоб с сверкающими от негодования глазами сказать: его не должно быть. Не должно быть, когда он есть! Достоевский отвечал на это: любите не воображаемый, осчастливленный, а несчастный, безобразный, отвратительный народ. Живите его жизнью. Можете вы это, хотите вы этого? Ваша же помощь, все ваши реформаторские затеи — самое последнее дело.
499. философия трагедии далека от того, чтоб искать популярности, успеха.

500. Он не возражает нам, он даже соглашается с нами, пьет иногда наш чай, читает сочиненные для него гр. Толстым сказки и умиляется им, но жить продолжает по-своему, ища своих радостей и бесстрашно идя навстречу своим страданиям.
501. И это не только русский народ, как писал Достоевский, а всякий. Во Франции, в Италии, в Германии вы видите то же, что и в России. Идеалы о курице к воскресному обеду и всеобщем счастье выдумывались всегда учителями, учеными людьми. Оттого, вероятно, они никогда и не будут осуществлены, хотя оптимисты и полагают, что их царство близко. Уже то обстоятельство, что стали возможны учителя вроде Достоевского и Ницше, проповедующие любовь к страданию и возвещающие, что лучшие из людей должны погибнуть, ибо им будет все хуже и хуже, показывает, что розовые надежды позитивистов, материалистов и идеалистов были только детскими грезами. Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от черта, избавиться магическим словом «ее не должно быть», а принять их, признать и, быть может, наконец, понять.
502. Наука наша до сих пор умела только отворачиваться от всего страшного в жизни, будто бы оно совсем не существовало, и противопоставлять ему идеалы, как будто бы идеалы и есть настоящая реальность.
503. Теперь жизнь явилась к нам с своими требованиями. Она об идеалах и не вспоминает. С загадочной суровостью она своим немым языком говорит нам нечто такое, чего мы никогда не слышали, чего мы и не подозревали. Ницше и Достоевский только истолковывают ее непонятный язык, когда говорят, что нам будет все хуже и хуже. Наши расчеты не оправдались. Не у крестьян будет к воскресному обеду курица, а у нас отнимутся все и материальные, и духовные блага, которыми нас дарила наука.
504. И лишь тогда, когда не останется ни действительных, ни воображаемых надежд найти спасение под гостеприимным кровом позитивистического или идеалистического учения, люди покинут свои вечные мечты и выйдут из той полутьмы ограниченных горизонтов, которая до сих пор называлась громким именем истины, хотя знаменовала собой лишь безотчетный страх консервативной человеческой натуры пред той таинственной неизвестностью, которая называется трагедией.
505. Тогда, быть может, поймут, отчего Достоевский и Ницше ушли от гуманности к жестокости и на своем знамени начертали
506. Задача философии не в том, чтобы научить нас смирению, покорности, самоотречению. Все эти слова были выдуманы философами не для себя, а для других. Когда гр. Толстой говорит: исполняйте волю пославшего вас сюда и слово «пославшего» пишет с маленькой буквы, мы понимаем уже, что он вслед за другими, существовавшими до него проповедниками, требует от нас того, чтоб мы исполняли его собственную волю.
507. Может быть, подпольный человек был несправедлив к «законам природы», когда говорил, что они более всего обижали его! Ведь они же, эти законы, дали ему, ничтожному, презренному, всеми отвергнутому существу гордое сознание его человеческого достоинства, приведши его к убеждению, что весь мир стоит не больше, чем один подпольный человек!
508. Так или иначе — философия трагедии находится в принципиальной вражде с философией обыденности. Там, где обыденность произносит слово «конец» и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят начало и ищут.
509. Это была долина, которой избегают все звери — даже хищные. Только особого рода безобразные, толстые, зеленые змеи приползают сюда под старость умирать. Оттого пастухи и называли эту долину Змеиной смертью.
510. Но их сострадание — от их сострадания я бегу и ищу у тебя убежища.
511. «Они (люди) преследуют меня, — говорит безобразный человек Заратустра, — теперь ты мое последнее убежище. Они преследуют меня не своей ненавистью, не своими солдатами: над всем этим я бы смеялся, я бы даже гордился, радовался этому!

512. «Каждый на твоём месте бросил бы мне милостыню — своё сострадание, словом или взглядом. Но я не нищий, ты угадал это; я сам богат великим, страшным, безобразнейшим, неизреченнейшим.
513. С трудом вырвался я из толпы сострадательных людей и пошел искать того единственного человека, который учит теперь, что сострадание навязчиво, — тебя, о, Заратустра, который учит, что нежелание помочь более благородно, чем выпрыгивающая вперед добродетель; но сострадание называется теперь добродетелью у всех маленьких людей: они не умеют уважать великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу»...
514. Уважать великое безобразие, великое несчастье, великую неудачу! Это последнее слово философии трагедии.
515. Этого идеалисты не допустят никогда, им нужны «творения Гоголя» и нет дела до самого Гоголя и его «великой неудачи, великого несчастья, великого безобразия».
516. Романы Достоевского и книги Ницше только и говорят, что о «безобразнейших» людях и их вопросах. Ницше и Достоевский, как и Гоголь, сами были безобразнейшими людьми, не имевшими обыденных надежд. Они пытались найти свое там, где никто никогда не ищет, где, по общему убеждению, нет и не может быть ничего, кроме вечной тьмы и хаоса, где даже сам Милль предполагает возможность действия без причины. Там, может быть, каждый подпольный человек значит столько же, сколько и весь мир, там, может быть, люди трагедии и найдут то, чего они искали... Люди обыденности не захотят переступить в погоне за таким невероятным «быть может» роковую черту. Но ведь их никто и не зовет к этому.

Конец текста